



КОЛЛЕКЦИОНЕР

# ДЖОН ФАУЛЗ

Я ПИШУ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,  
Я СУЩЕСТВУЮ.  
ДЖОН ФАУЛЗ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

## Annotation

«Коллекционер» — первый из опубликованных романов Дж. Фаулза, с которого начался его успех в литературе. История коллекционера бабочек и его жертвы — умело выстроенный психологический триллер, в котором переосмыслено множество сюжетов, от мифа об Аиде и Персефоне до «Бури» Шекспира. В 1965 году книга была экранизирована Уильямом Уайлером.

---

---

**Джон Фаулз**  
**Коллекционер**

John Fowles

THE COLLECTOR

Copyright © J. R. Fowles, 1963

This edition is published by arrangement with Aitken Alexander Associates Ltd. and The Van Lear Agency LLC.

*Я пишу, следовательно, я существую.*

*Джон Фаулз<sup>[1]</sup>*

В эссе, название которого я вынесла здесь в эпиграф<sup>[2]</sup>, Джон Фаулз, современный английский классик с теперь уже мировым именем, говорит, что писателем он стал совершенно сознательно, желая не только найти способ выразить себя, но и «улучшить общество». По его словам, он стремился «писать (в следующем порядке) стихи, философские работы и — лишь в последнюю очередь — романы». И действительно, начал Фаулз в пятидесятые годы с писания стихов<sup>[3]</sup>, но славу ему принесли именно романы, в которых, кстати говоря, вполне ощутима философская мысль. Намерение писать философские работы Фаулз тоже осуществил вполне успешно: в 1964 г. был опубликован его «Аристос»<sup>[4]</sup> — собрание «непричесанных», не объединенных в единое целое рассуждений, вызванных к жизни чтением Гераклита и желанием высказать свои мысли о смысле жизни, о границах человеческих возможностей, о творчестве, об искусстве, о природе и обществе прямо, не облекая их в беллетристическую форму.

«Коллекционер» — первый опубликованный роман Фаулза — вышел в 1963 году и сразу сделал автора знаменитым. В сборнике «Современный английский роман» о Фаулзе писали: «...Самый интересный и значительный талант, проявившийся в шестидесятые годы»<sup>[5]</sup>. С тех пор книга издавалась и переиздавалась, была переведена почти на три десятка языков, по ней сняты фильмы, ставились спектакли, в том числе и в Москве<sup>[6]</sup>. Популярность книги, неожиданная для самого автора, не удивительна. Как верно замечает в предисловии к первому русскому изданию романа Т. Красавченко, творчество Джона Фаулза «адекватно мироощущению современного человека. Писатель, отнюдь не подстраиваясь под читателя, порой открывая нелицеприятную правду о человеке, затрагивает «живой нерв жизни», расширяет представление о ней и об искусстве»<sup>[7]</sup>. Интерес читателя к произведениям Фаулза усиливается еще и тем, что «романтический» или, как еще о нем говорят, «близкий магическому» реализм писателя облекается всегда в иную, не похожую на другие его работы форму. Это может быть и псевдофантастический, полный игры воображения или, как шутит Фаулз, «игры в Бога», пространный «Маг» (1966–1977), и коротенькая романтическая «Башня из черного дерева» (1974); роман в викторианском стиле «Женщина французского лейтенанта» (1969) и стилизованный под Средневековье «Мэггот» (1985, в русском переводе «Червь»); постмодернистская пародия на постмодернизм «Мантисса» (1982) и реалистический, отчасти автобиографический «Дэниел Мартин» (1977). Даже рассказы, вошедшие вместе с одноименной повестью в сборник «Башня из черного дерева», не похожи один на другой. Кроме того, все его произведения многоплановы: искушенный читатель найдет в них и пищу для ума, и повод для игры воображения, неискушенный — увлекательный, зачастую прямо-таки детективный сюжет, а порой и эротику.

Как уже сказано, «Коллекционер» — первый опубликованный, однако не первый написанный Фаулзом роман. Первым был «Маг» (в русском переводе — «Волхв»); эту книгу Фаулз решил опубликовать лишь после того, как обрел признание. Не удовлетворенный



своим ранним романом, писатель снова взялся за работу над ним, и через одиннадцать лет читатели смогли познакомиться с новым вариантом «Мага». Уже в первой версии «Мага» определилась основная линия беллетристических произведений Фаулза: это романы воспитания чувств, формирования, становления личности.

В статьях и очерках разных лет, написанных по разным поводам и на разные темы<sup>[8]</sup>, Фаулз не раз повторяет, что в своих работах стремится повлиять на общество, сделать его лучше посредством влияния на отдельного человека. «...Я разделяю писателей на развлекателей и проповедников. Я не против развлекателей, я всего лишь против их теперешней гегемонии», — объясняет автор свою позицию в уже упомянутом эссе<sup>[9]</sup>.

В «Коллекционере» становление личности происходит в экстремальной обстановке, когда человеческие чувства обнажаются до предела. «Мой интерес возбуждают скрытые драматические психосексуальные смыслы, порождаемые экстремальными ситуациями, изолированностью. Однако, в отличие от Фрейда или Юнга, я никогда не считал эти смыслы таким уж важным подспорьем для анализа... <...> Тюремное заключение — лишь самая крайняя из целой группы таких ситуаций: застрявший лифт, например (ситуация, блестяще использованная Бергманом в фильме «Урок любви»), кораблекрушение или авиакатастрофа (Голдинг, «Повелитель Мух»), необитаемый остров (от Дефо до Антониони), джунгли, яхта, комната (Ионеско и Пинтер<sup>[10]</sup>), одиноко стоящий дом (сестры Бронте), автомобиль в тумане и т. д.»<sup>[11]</sup>. Действие «Коллекционера» помещено в подвал уединенного дома в графстве Суссекс, на юго-востоке Англии. Он и она — Клегг и похищенная им Миранда, коллекционер и «экспонат» коллекции, — в сложном противостоянии самосознаний неизбежно меняются. Оба стоят перед вечным выбором между добром и злом. Миранда, светлая и наивно-чистая молодая девушка (недаром Фаулз дает ей имя прекрасной дочери волшебника Просперо из «Бури» Шекспира!), находит силы преодолеть «зло» внутри себя. Фредерик Клегг самозванно присваивает имя благородного Фердинанда из той же «Бури» (о существовании которой сам он и не подозревает), однако Миранда справедливо называет его Калибаном. Не умея и не желая учиться добру, Клегг тоже «находит силы» — преодолеть в себе потенциально доброе начало. В книге «Аристос», рассуждая о конфронтации между своими героями, Фаулз пишет, что это — противостояние не просто и не только между людьми, разделенными «классовым барьером», о чем постоянно напоминает Клегг. Главная разделительная линия в обществе проходит не между меньшинством и большинством, не между «Немногими» и «Многими», о чем упоминает в своем дневнике Миранда, и даже не между отдельными индивидами, не, так сказать, между «Я» и «другим», но *внутри каждого человека*<sup>[12]</sup>.

Однако внутреннее состояние человека зависит от условий, в которых он родился и вырос. И потому Клегг, выбравший «зло», не так уж виноват: «Клегг — похититель — совершил зло; но я попытался показать, что это зло явилось в значительной степени, а возможно и полностью, результатом дурного образования, убогой среды, сиротства — всех тех факторов, управлять которыми было не в его силах. Короче говоря, я пытался утверждать фактическую невиновность большинства. Миранда, похищенная им девушка, несколько не более, чем он, могла управлять обстоятельствами, ее создавшими: обеспеченная семья, возможность получить хорошее образование, унаследованные способности и интеллект. Но это не значит, что она — само совершенство: она самонадеянна в своих представлениях, склонна к резонерству, преисполнена гуманно-либерального снобизма, как многие

университетские студенты. Но... она могла бы стать лучше, могла бы стать человеком, в каких так отчаянно нуждается человечество»<sup>[13]</sup>. Словом, заключает писатель, никто из нас не совершенен, но среди нас не существует никого, совершенно лишённого достоинств.

В отличие от многих других романов, замысел которых, как рассказывает писатель, мог родиться случайно — из сновидения, из неожиданно возникшего во время прогулки образа, — «Коллекционер» был задуман после того, как Джон Фаулз попал в число присяжных на процессе, проходившем в центральном уголовном суде Лондона, Олд Бейли. Он пишет: «Закон, право могут быть прекрасны, но *правосудия* не существует. Психически не вполне нормальный человек, отец пятерых детей, бросивший в топку зачатого от него же самого ребенка своей старшей дочери, поднялся со скамьи подсудимых, что-то бормоча и рыдая. Обнаженность страдания и ужас переполняли зал суда: все дети этого человека были психически ненормальны, жена его бросила, у него не было ни денег, ни родных — ничего, кроме грубых, тяжелых рук с грязными ногтями и этих слез. Мне хотелось вскочить на ноги и кричать. Не мы его судили — судьей был он, и судил он жизнь — как она есть»<sup>[14]</sup>.

Не стоит, однако, предполагать, что в Клегге автор видит человека не вполне нормального психически. Нет, говорит он, Клегг нормален в той же степени, в какой нормальны многие, вышедшие из среды, веками жившей в нечеловеческих условиях. И когда мы читаем записки Клегга и испытываем недоуменный ужас, глубже узнавая этого человека, мы порой все же испытываем к нему и жалость.

В уже упоминавшемся предисловии к «Коллекционеру» Т. Красавченко говорит о том, что своеобразие английского романа — в его необычайно сильной связи с литературной традицией<sup>[15]</sup>. Вот что пишет сам автор о своей книге:

«Коллекционера» я писал строго реалистически, отправляясь непосредственно от величайшего мастера придуманных биографий — Дефо, чтобы создать ощущение внешней обстановки романа. От Джейн Остен и Пикока<sup>[16]</sup>, когда писал героиню. От Сартра и Камю, создавая «климат»<sup>[17]</sup>. Тем не менее Фаулз нигде не выступает как имитатор «великих» — он совершенно самостоятелен. Настолько самостоятелен, что даже в собственных работах, всегда оставаясь самим собой, нигде себя не повторяет.

Избранная им для «Коллекционера» форма — два дневника, Клегга и Миранды, — дает возможность избежать открытого авторского вмешательства в текст, что так характерно для более поздней его книги — «Женщина французского лейтенанта». Мы не найдем в «Коллекционере» ни одной авторской ремарки, ни одного описания или характеристики героев. Читатель воспринимает — и понимает — персонажей исключительно через речь каждого из них, причем не просто благодаря содержанию их высказываний, но не в меньшей мере через способ выражения этого содержания, то есть через язык.

Роман с первой же страницы заставляет читателя *увидеть* Клегга и содрогнуться — такой убогой бесцветностью, примитивностью языка и мысли веет от этих фраз, избыточных канцеляризмами, повторами, скобками, лишённых эмоциональной окраски. Клегг — мелкий чиновник, хорошо учившийся в школе, говорит в основном грамотно, лишь изредка допуская ошибки, характерные для человека, мало читавшего, такие как «хужее» или «более тщательнее». Но он боится отойти от шаблона, боится или не умеет употреблять в речи пословицы, поговорки, идиоматические выражения. Он никогда не шутит. И если вдруг повторит чью-то поговорку или шутку, обязательно «сошлется на автора» — своего дядюшку, сотрудника... Миранда замечает в одном из разговоров с Клеггом, что речь его — словно

серый дождь, размывающий краски. Даже знаки препинания здесь характеризуют героя: не говоря уже о неправильно расставленных запятых, в речи Клегга редко встречаются вопросительные и совершенно отсутствуют восклицательные знаки! Мы ощущаем, как «закомплексован» этот человек, понимаем, что дело здесь не просто в недостатке знаний или культуры. Помимо всего прочего, Клегг страдает отсутствием воображения, творческого восприятия мира: главное достоинство для него — *мертвая упорядоченность* замкнутого тесного мирка, в котором он обитает. Недаром он коллекционирует бабочек, умерщвляя их, чтобы в определенном порядке навсегда приколоть под стеклом. (Надо сказать, что тему коллекционирования Фаулз затрагивает в своих работах довольно часто, считая, что коллекционировать допустимо лишь книги. Остальные виды коллекций либо бессмысленны, продиктованы тщеславием, либо — если приходится умерщвлять живые существа — преступны.) Недаром оказывается, что реальная, живая, «неупорядоченная» Миранда вызывает раздражение, а порой и ненависть самозваного «Фердинанда». Когда-то в русском языке существовало емкое и трагичное определение: «*безлюбый*» — не умеющий любить, не знающий любви. Таков Клегг, полагающий, что любит Миранду.

Со вздохом облегчения — как это ни парадоксально — погружаемся мы в трагические, но полные яркой, напряженной жизни и, несмотря на весь ужас ситуации, оптимистические записки Миранды. В противоположность речи Клегга, ее язык лексически богат, эмоционален, изобилует красками, интересными, зачастую неожиданными эпитетами; она живо и выразительно описывает людей, виденные ею городские и сельские пейзажи, солнечный свет, даже сны ее — красочны, независимо от того, светлый ли это сон или кошмар. Язык Миранды — не просто язык образованной интеллигентной девушки, это — язык художника, живущего в просторном мире цвета, язык человека, стремящегося к добру и любви, способного не только творить искусство, но и творить себя.

В романе присутствует еще один, пожалуй, не менее «главный» герой: художник. Он появляется не сам собой, а в дневниковых рассказах о нем Миранды. В значительной степени выражая взгляды автора на искусство и общество, он представляет в книге тех «Немногих», которых искренне заботят судьбы «Многих». Он говорит Миранде, что человек порядочный должен держаться левых взглядов (не забудем, что «левый» здесь значит «противоположный консервативному, реакционному»). Он учит ее, что к искусству следует относиться серьезно, будь то живопись или музыка, и именно ему она обязана тем, что отрешается от подростковых представлений о любви, учится любить всерьез.

Образ художника подчеркивает еще одну, весьма существенную линию романа — безуспешную погоню за ускользающей героиней. Если сам Клегг говорит, что выслеживать Миранду — все равно что редкую бабочку ловить, то для художника она — воплощение романтической мечты об утраченной чистоте, об истинной любви. Излюбленная тема рыцарских романов и баллад, рожденная в Средневековье культом Прекрасной Дамы — любовь к недостижимой возлюбленной, к «Принцессе Грезе» (прямую ссылку на «Princesse Lointaine»<sup>[18]</sup> мы находим в надписи на рисунке, подаренном художником Миранде), — особенно ярко выявляется в противопоставлении двух персонажей-мужчин, так по-разному ищущих «ускользающую героиню».

Фаулз нередко использует в своих произведениях образ бабочки. У него можно найти и образ имаго<sup>[19]</sup> — бабочки взрослой, вылупляющейся из кокона, и бабочек, похороненных в застекленных коробках коллекционера или бьющихся в стекло освещенного окна (вспомним, в частности, «Башню из черного дерева»). Символизм этого знакового для автора образа

раскрывается читателю в разговоре художника с Мирандой, когда он говорит ей, что о таких, как она, писал Юнг. Речь идет о красоте, в которой выражена душа, о красоте одухотворенной. Бабочка — по-гречески «психея», но «психея» по-гречески также — дух, душа. Душа Клегга так и остается внутри кокона окутавшей его тьмы, душа Миранды выплывает на свет, словно имаго, но вот успеет ли она расправить крылья?

Вернемся, однако, к проблеме противостояния большинства и меньшинства, «Многих» и «Немногих», весьма важной для Фаулза. В книге «Аристос» автор говорит, что писал своего «Коллекционера», опираясь на идеи Гераклита, делившего общество на *aristoi*, то есть моральную и интеллектуальную элиту, людей, благородных духом, и *hoi polloi*, — бездумную, конформную массу. Как видно, разделение на большинство и меньшинство есть разделение скорее биологическое, чем социальное, а в условиях общества, разграниченного на социальные группы, — биосоциальное, поскольку влияние среды на человека весьма велико. «Мы знаем о нем (то есть о Гераклите. — И.Б.) очень мало, ибо он — предшественник великого века греческой философии, и все, что осталось от его трудов, — несколько зачастую неясных фрагментов...» — пишет Фаулз. Говоря о Гераклитовом понятии общества, разделенного на «Многих» и «Немногих», писатель продолжает: «Нельзя отрицать, что Гераклита использовали реакционеры, но мне кажется, что его основное положение биологически неопровержимо.

В каждой сфере человеческой деятельности очевидно, что источник большинства достижений — отдельные люди, гениальные ученые, художники, святые, революционеры... И не нужно большого ума, чтобы доказать обратное, — значительная часть человечества не является очень интеллектуальной, высокоморальной или хорошо образованной... Конечно, делать вывод, что человечество можно разделить на две четко определенные группы, — избранное меньшинство и презренное большинство, — идиотизм. Градации бесконечны...» И далее, объясняя некоторые, не понятые критиками, выводы романа, Фаулз говорит: «Действенное зло в Клегге одерживает победу над потенциальным добром Миранды. Я не хотел сказать этим, что смотрю на будущее с мрачным пессимизмом: я вовсе не имел в виду, что драгоценной элите угрожают варварские орды. Я только хотел сказать, что до тех пор, пока мы не признаем существование этого неоправданно жестокого конфликта (основывающегося в значительной мере на неоправданной зависти, с одной стороны, и неоправданном презрении — с другой) между биологическим большинством и биологическим меньшинством; до тех пор, пока мы не признаем, что мы не рождаемся и никогда не будем рождаться равными, хотя все мы рождаемся с равными человеческими правами; до тех пор, пока большинство не станет достаточно образованным, чтобы избавиться от ложного представления о своей неполноценности, а меньшинство — от столь же ложного представления о том, что биологическое превосходство есть норма существования, а не *норма ответственности*, чем оно в действительности является, нам никогда не придется жить в более справедливом и счастливом мире»<sup>[20]</sup>. Именно в связи с этим Фаулз и утверждает, что разделительная линия в обществе проходит не вне, а внутри каждого человека. Миранда смогла сделать шаг за эту черту. Клегг — не смог.

Джон Фаулз родился в 1926 году в городке Ли-он-Си, в графстве Эссекс, на юго-востоке Англии. Его семья (как, кстати говоря, и семья Миранды) принадлежала к преуспевающему среднему классу — отец занимался импортом табака и имел несколько небольших табачных магазинов. Как говорит о нем Фаулз в своей книге «Дерево»<sup>[21]</sup>, он никогда в жизни не читал романов, зато любил природу и увлекался философией, вырываясь тем самым из круга



«бездумного большинства». В 1939 году Джон был послан учиться в Бедфорд — привилегированную частную школу для мальчиков, где у него проявился интерес к французской и немецкой литературе: эту стезю он и избрал, поступив в Оксфордский университет. Однако когда по новым университетским правилам стало возможным специализироваться только в одной области (Джон Фаулз был тогда на втором курсе), он с удовольствием отказался от немецкого языка в пользу французского и литературы. Между окончанием школы и поступлением в Оксфорд он два года отслужил в морской пехоте, но войны 1939–1945 гг. уже не застал, она закончилась как раз тогда, когда его призвали в армию. Выйдя из университета с дипломом «второго класса» (Фаулз был не отличником — хорошистом), он работал учителем, сначала во Франции, в университете Пуатье — преподавателем английской литературы и так называемым носителем языка (1951), а затем, когда контракт ему не продлили, согласился поехать в Грецию, на остров Спетсаи, чтобы преподавать в частной мужской школе (1951–1952). Потом, до 1964 года, он работал в лондонских колледжах. В эссе «Я пишу, следовательно, я существую», опубликованном впервые в 1964 году, после выхода «Коллекционера», он говорит: «Десять лет назад я сделал свой выбор, решив стать писателем, — сделал выбор в экзистенциальном смысле этого акта; то есть мне постоянно приходилось делать этот выбор заново и жить в постоянной тревоге из-за обуревавших меня сомнений — а правильный ли выбор я сделал. Ведь я отверг гораздо более интересные возможности; я все поставил на одну карту — на этот выбор. Отчасти это был сознательный выбор экзистенциалиста, отчасти — зов крови, той самой — корнуольской<sup>[22]</sup> — четверти моего «я»; возможно, думаю я теперь, даже если бы ту мою книгу не приняли, если бы вообще никогда ни одна моя книга не была бы принята к печати, я был прав, построив жизнь в соответствии с этим выбором. Потому что меня окружают люди, не сделавшие — в этом смысле — собственного выбора: они позволили себе *быть выбранными*. Кого-то из них выбрали деньги, кого-то — символы высокого положения в обществе, кого-то — работа; и я не знаю, на кого из них грустнее смотреть — на того, кто понимает, что не сам выбрал, или на того, кто не понимает»<sup>[23]</sup>. До выхода «Коллекционера» Фаулзу приходилось писать урывками, «в свободное от работы время». Правда, решив взяться за этот роман, он бросает преподавание: «Я не думаю о себе как о человеке, который «бросает работу, чтобы быть писателем». Я бросаю работу, чтобы наконец-то *быть*»<sup>[24]</sup>.

Успех романа позволил ему поселиться в уединенном доме с садом в маленьком городке Лайм-Риджисе, в графстве Дорсет, что на юго-западе Англии, и целиком посвятить себя «игре в Бога» — творчеству. В том же эссе он пишет: «Я не хочу быть английским писателем, я хочу быть писателем европейским, то есть я сказал бы — мегаевропейским (Европа, плюс Америка, плюс Россия, плюс все те страны, где культура является по существу европейской). Этого требует вовсе не мое непомерное тщеславие, не попытка прыгнуть выше собственной головы, но простой здравый смысл. Какой толк писать для того, чтобы тебя читали только в Англии? Я даже и англичанином-то быть не хочу. Мой родной язык — английский, но я — мегаевропеец»<sup>[25]</sup>. Мы можем теперь с уверенностью сказать, что и эту поставленную перед собой задачу писатель выполнил с завидным успехом.

Не боясь наскучить читателю обширным цитированием, приведу еще одну выдержку из все того же эссе: кто же лучше самого писателя может рассказать о его взглядах?

«Я чувствую, что основных социально-политических обязательств у меня три. Первое: быть атеистом. Второе — не принадлежать ни к одной из политических партий. Третье — не

принадлежать к каким бы то ни было блокам, организациям, группам, кликам или школам. Первое — потому, что даже если есть Бог, человечеству безопаснее вести себя так, будто Его нет (знаменитый афоризм Паскаля наоборот<sup>[26]</sup>); а второе и третье — потому, что свобода личности в опасности на Западе в той же мере, что и на Востоке. Преимущество Запада не в том, что здесь легче быть свободным, но в том, что если ты свободен, тебе не нужно притворяться, как это приходится делать за Железным занавесом, что ты не свободен»<sup>[27]</sup>.

И действительно, Фаулз никогда не принадлежал ни к каким партиям, группам и школам (в том числе и литературным), но голосовал за лейбористов. В этом смысле художник в «Коллекционере» как раз и выражает взгляды автора. Интересно заметить, что в юности Фаулза увлекали социальные идеи Маркса, как-то он даже упомянул, что человечество ждет «созревания красных плодов на дереве, посаженном Карлом Марксом». Позднее он высмеет увлечение коммунизмом, особенно выразительно — в романе «Дэниел Мартин». Что же касается атеизма... Здесь тоже не все так просто. В этом же обильно цитируемом эссе автор высказывает убеждение, что Бога просто не может быть (вспомним последние страницы дневника Миранды!), однако, говоря о творчестве, он утверждает, что творить любому художнику, писателю в частности, помогает некая необъяснимая сила, рождающая вдохновение. «Я понимаю, что когда пишу хорошо, писать мне помогает не просто сумма накопленных знаний, умений, опыта: мне помогает что-то вне меня самого.

Вдохновение, общение с музой — это как телепатия...»<sup>[28]</sup>

Все, что говорит писатель о своих взглядах в постоянно упоминаемом мною эссе, мы можем найти в его небольшом и таком пронзительном романе, написанном полвека назад, но все еще не просто современном, а — я бы сказала — злободневном. Вопреки утверждению автора, что он смотрит на ситуацию не столь пессимистически, его роман-притча звучит как предостережение миру о надвигающемся торжестве тупой, жестокой серости, стремящейся подмять под себя все недоступное ее пониманию, все светлое и потому ей, серости, враждебное.

Джон Роберт Фаулз умер в Лайм-Риджисе в 2005 году.

*И. Бессмертная*

*Москва*

*Июнь, 2013*

*Que fors aus ne le sot riens nee —  
Никто не знал об этом, кроме них.*

*Мария Французская.*

*«Шато Вержи»*

Когда она приезжала из частной школы домой на каникулы, я мог видеть ее чуть не каждый день: дом их стоял через дорогу, прямо против того крыла Ратуши, где я работал. Она то и дело мчалась куда-то, одна или вместе с сестренкой, а то и с какими-нибудь молодыми людьми. Вот это мне было вовсе не по вкусу. Иногда выдавалась минутка, я отрывался от своих гроссбухов и папок, подходил к окну и смотрел туда, на их дом, поверх матовых стекол, ну, бывало, и увижу ее. А вечером занесу это в дневник наблюдений. Сначала обозначал ее индексом «Х», а после, когда узнал, как ее звать, — «М». Несколько раз встречал на улице, а как-то стоял прямо за ней в очереди в библиотеке на Кроссфилд-стрит. Она и не обернулась ни разу, а я долго смотрел на ее затылок, на волосы, заплетенные в длинную косу, очень светлые, шелковистые, словно кокон тутового шелкопряда. И собраны в одну косу, длинную, до пояса. То она ее на грудь перекидывала, то снова на спину. А то вокруг головы укладывала. И пока она не стала гостьей здесь, в моем доме, мне только раз посчастливилось увидеть эти волосы свободно рассыпавшимися по плечам. У меня прямо горло перехватило, так это было красиво. Ну точно русалка.

А в другой раз, в субботу, я поехал в Музей естественной истории, в Лондон, и мы возвращались в одном вагоне. Она сидела на третьей от меня скамейке, ко мне боком, и читала, а я целых полчаса на нее смотрел. Смотреть на нее было для меня ну все равно как за бабочкой охотиться, как редкий экземпляр ловить. Крадешься осторожненько, душа в пятки ушла, как говорится... Будто перламутровку<sup>[29]</sup> ловишь. Я хочу сказать, я о ней думал всегда такими словами, как «неуловимая», «ускользающая», «редкостная»... В ней была какая-то утонченность, не то что в других, даже очень хорошеньких. Она была — для знатока. Для тех, кто понимает.

В тот год, когда она еще в школу уезжала, я не знал, кто она и что. Только фамилию отца — доктор Грей, да еще как-то слышал, говорили на встрече секции жесткокрылых, что вроде мать у нее попивает. И правда, раз встретил ее мамашу в магазине, слышал, как она с продавцом разговаривает — голосок жеманный, фу-ты ну-ты, тон барский и, видно сразу, из тех, кто не дурак выпить: шпукатурка с лица чуть не валится, и всякое такое.

Ну а потом в нашей городской газете напечатали, что она получила стипендию в Лондонском художественном училище и какая она умная и способная. И я узнал ее имя, красивое, как она сама, — Миранда. И узнал, что изучает искусство. После этой статьи все сразу пошло по-другому. Вроде мы как-то сблизились, хотя, конечно, не знали друг друга в том смысле, как это обычно бывает.

Не могу объяснить, отчего да почему... только как я ее впервые увидел, сразу понял: она — единственная. Конечно, я не окончательно свихнулся, понимал, что это всего лишь мечта, сновидение, и так оно и осталось бы, если бы не эти деньги. Я прямо грезил среди бела дня, придумывал всякие истории, вроде я ее встречаю, совершаю подвиги, она восхищается, мы женимся, и всякое такое. Ничего дурного и в голове не держал. Потом только. Но это я еще объясню.

В грезах этих она рисовала картины, а я занимался своей коллекцией. Представлял себе, как она меня любит, как ей коллекция моя нравится, как она рисует и раскрашивает свои картины. Как мы с ней вместе работаем в красивом современном доме, в большущей комнате с таким огромным окном из цельного стекла, и вроде собрания секции

жесткокрылых в этой комнате проходят. И я не молчу, как обычно, чтоб ненароком не сморозить чего, и мы с ней — хозяйин и хозяйка, и все к нам с уважением. И она такая красивая — светлые волосы, серые глаза, — что от зависти все мужики зеленеют прямо на глазах.

Ну конечно, эти все приятные мечты таяли, когда я видел ее с одним парнем, самоуверенным, наглым, из тех, кто позаканчивал частные школы и теперь раскатывает в спортивных автомобилях. Я раз на тотализаторе встретил его, он стоял у соседнего окошечка. Я вносил, а он получал. И говорит: дайте-ка мне полусотенными. А вся шутка в том и заключалась, что выигрыш у него был всего-то десять фунтов. Все они так. Ну, я видел иногда, как она в его машину садится, встречал их вместе или видел, как они в этой машине по городу катаются. Ну, тогда я очень бывал резок со всеми на работе и не вписывал «X» в дневник энтомологических наблюдений. (Это все до того, как она в Лондон уехала. Тогда уж она его бросила.) В такие дни я позволял себе дурные мысли. Тут уж она рыдала и валялась у меня в ногах. Один раз даже я представил себе, как бью ее по щекам: как-то видел в одной пьесе по телику, парень дал пощечину своей подружке. Может, тогда-то все и началось.

Мой отец погиб в автокатастрофе. Мне было два года. Случилось это в 1937-м. Он был пьян вдребезину. Но тетюшка Энни утверждала, что запил он из-за матери. Я так и не узнал, что там было на самом деле, только вскоре после смерти отца мать уехала, оставила меня тетке, ей-то самой лишь бы жить полегче да повеселей. Мейбл, моя двоюродная сестрица, как-то раз сообщила мне в пылу ссоры (мы совсем еще были детишками), что мать моя — уличная и сбежала с иностранцем. У меня хватило глупости прямо отправиться к тетюшке и задать ей этот вопрос. Ну конечно, если уж она когда хотела от меня что утаить, это ей прекрасно удавалось. Теперь-то мне безразлично, и если даже мать жива, у меня видеть ее нет охоты. Даже из любопытства. А тетюшка Энни всегда повторяет, мол, еще легко отделались. Думаю, она права.

Ну вот, значит, я рос у тетюшки Энни и дядюшки Дика, вместе с их дочкой Мейбл. Тетюшка — старшая сестра моего отца.

Дядя Дик умер, когда мне было пятнадцать лет, в 1950-м. Мы отправились на водохранилище рыбу ловить и, как всегда, разделились: я взял сачок и еще что там было нужно и ушел. А когда проголодался, вернулся к тому месту, где его оставил, там уже собралась целая толпа. Я подумал: ого, дядюшка, похоже, какую-то громадину на крючок подцепил. А оказалось — с ним случился удар. Его отвезли домой, только он уже не мог говорить и никого больше не узнавал.

Те дни, что мы провели с ним вместе — не так уж все время вместе, я ведь уходил бабочек ловить, а он сидел со своими удочками на берегу, но только ели мы всегда вместе и поездки к водохранилищу и домой тоже, — вот те дни с ним, пожалуй, самые счастливые в моей жизни (кроме, конечно, тех, о которых я потом расскажу). Тетюшка и Мейбл насмехались надо мной из-за бабочек, во всяком случае, когда я был мальчишкой. А дядюшка — он всегда за меня стоял. И всегда восхищался, как я их умею накалывать, говорил, прекрасная аранжировка и всякое такое. И еще со мной радовался, когда удавалось вывести новый экземпляр имаго. Всегда сидел и смотрел, как из кокона выбирается бабочка, расправляет и сушит крылышки, как осторожно их пробует. Для банок с гусеницами он мне выделил местечко в своей кладовке, а когда на конкурсе «Мир твоих увлечений» я получил приз за коллекцию фритилларий<sup>[30]</sup>, он мне подарил деньги, целую кучу — фунт стерлингов,



только не велел тетке говорить. Да что там, он мне был как отец. Когда мне мои деньги вручали, чек этот, я его в пальцах зажал, а сам первым делом о дядюшке подумал, после Миранды, конечно. Я бы ему самые лучшие удочки купил... и снасть всякую... и все, чего бы он только ни захотел. Ну, это уж было невозможно.

На скачках я стал играть, как только мне стукнуло двадцать один. Каждую неделю ставил пять шиллингов.

Старина Том и Крачли из нашего отдела и еще несколько девчонок скидывались и играли по крупной и вечно приставали, чтоб я к ним присоединился. Только я всегда отказывался, мол, я сам по себе, волк-одиночка. Да мне ни Том, ни Крачли никогда не были особенно по душе. Старина Том какой-то противный, скользкий, вечно распространяется про наш Городской совет, а сам лижет главного бухгалтера во все места. А Крачли — грязный тип, садист, никогда не упустит случая высмеять меня за бабочек, особенно при девчонках: «Что-то Фред усталым выглядит после воскресенья, видно, провел бурную ночь с какой-нибудь бабочкой...» Или: «Что это за нимфа была с тобой вчера? Может, нимфа Лида из Виргинии?»<sup>[31]</sup> И старина Том ухмыльнется, а Джейн, подружка Крачли (она из отдела канализации, но вечно торчит у нас, в налоговом), хихикнет. Вот уж кто на Миранду не похож. Ну небо и земля. Терпеть не могу вульгарных женщин, особенно молоденьких. Так что, повторяю, играл я всегда один.

Чек был на 73 091 фунт и еще сколько-то шиллингов и пенсов<sup>[32]</sup>. Я позвонил мистеру Уильямсу, как только эти люди с тотализатора подтвердили, что все в порядке. Ну и обозлился же он, что я так вот сразу увольняюсь, хоть и сказал, что очень даже за меня рад и что — он, мол, уверен — все за меня рады. Я-то знал, что это все вранье. Он даже предложил мне вложить эти деньги в пятипроцентные облигации Городского совета. О господи. У нас в Ратуше некоторые совсем утратили чувство меры.

А мне, когда чек вручали, посоветовали уехать в Лондон вместе с тетушкой и Мейбл, пока вся эта шумиха не утихнет. Ну, я так и сделал. Старине Тому я отправил чек на 500 фунтов и написал, чтоб он поделился с Крачли и всеми другими. На их письма с благодарностями я и отвечать не стал, ясно было, они сочли, что я скупердяй.

Ну, ложка дегтя в эту бочку меда все же попала. Из-за Миранды. Когда я выиграл все эти деньги, она как раз приехала домой на каникулы. Я ее увидел в субботу утром, в тот самый мой счастливый день. И уехал. И все время в Лондоне, пока мы только и знали, что тратили мои денежки, я боялся, что больше никогда ее не увижу. Думал, вот ведь теперь, разбогатев, я вполне гожусь ей в мужья; потом думал, это же смех — надеяться, теперь выходят замуж по любви, особенно такие, как Миранда. Были минуты, я верил, что забуду о ней. Но забыть — это ведь от тебя не зависит, это выходит само собой. Только у меня не вышло.

Если ты человек корыстный и беспринципный, а у нас теперь таких пруд пруди, я думаю, на свои-то кровные, если ты уж их заполучил, здорово можно время провести. Но по чести могу сказать, я не из таких, меня даже в школе никогда не наказывали. Тетушка Энни — она из секты неконформистов<sup>[33]</sup> — никогда меня силком в церковь не тащила, ничего такого не заставляла делать, но атмосфера в доме, где я воспитывался, была соответствующая, хотя дядюшка Дик иногда малость перебирал в пивнушке. А тетка даже курить мне разрешила, когда я из армии пришел, правда, со скандалами, я их чуть не каждый день ей закатывал. Что там говорить, я со своим курением у нее в печенках сидел. И

подумать только, она ведь знала, сколько я получил, а все равно не переставала твердить, мол, не в ее правилах швыряться деньгами. Ох и влетело же ей за это от Мейбл: сестрица полагала, что я не слышу; ну да все равно, я сказал, деньги мои, совесть тоже моя и вся ответственность на мне, пусть только скажет, чего ей хочется, а не хочет — так на нет и суда нет, а в уставе нонконформистов ничего не сказано про подарки.

К чему я все это рассказываю, дело в том, что, когда я в армии служил, в финчасти корпуса, мы в Западной Германии стояли, я пару раз напился, но с женщинами дела никакого не имел. Да и не больно-то о них думал до Миранды. Я ведь знаю: нет во мне того, что нужно девчонкам; парни вроде Крачли мне кажутся грубыми до невозможности, а девчонки к таким липнут как мухи. Посмотреть на некоторых у нас в Ратуше, как они этому Крачли глазки строят, так и рвотных таблеток глотать не надо. А во мне этого грубого, скотского, что их так влечет, нет. И не было от рождения. (И прекрасно, если бы на свете побольше было таких, как я, уверен, мир стал бы лучше.)

Если денег нет, всегда кажется, что с деньгами все пойдет совсем по-другому. Я никогда не требовал ничего лишнего, только то, что мне причиталось, но в гостинице сразу же ясно стало, что вся их почтительность — вид один, на самом-то деле все они нас презирают, денег у нас куча, а что с ними делать, толком не знаем. Мол, из грязи — да в князи. И за спиной они так обо мне и судили, мол, мелкая сошка — она мелкая сошка и есть, как ни швыряйся деньгами. Стоило нам сказать или сделать что-нибудь, как все вылезало наружу. Сразу видно было, что у них на уме: нас не проведешь, мы тебя насквозь видим, отправляйся-ка подбру-поздорову откуда пришел.

Помню, как-то вечером мы отправились в шикарный ресторан поужинать. Ресторан значился в том списке, что мне дали эти люди с тотализатора. Готовили там отлично, и мы все съели, только я вкуса почти и не чувствовал, так на нас там смотрели — и посетители, и противные скользкие официанты-иностранцы; и мне казалось, что сам зал, все предметы в нем смотрят на нас сверху вниз, потому что мы не так воспитаны и выросли не там, где надо. Тут как-то мне попала статья о школьном обучении, о разных там классах. Меня бы спросили, я бы им порассказал. На мой взгляд, весь Лондон рассчитан только на тех, кто окончил частную школу или умеет делать вид, что там учился, а если у тебя ни пижонских манер, ни барского тона нет, то и рассчитывать не на что. Я, конечно, про богатый Лондон говорю, про Уэст-Энд.

Как-то вечером — это было как раз после того ресторана — я сказал тетушке Энни, что хочу прогуляться. И ушел. Ходил, ходил и вдруг подумал, что мне, пожалуй, нужна женщина, ну чтобы знать, что у меня была женщина. Ну и набрал номер телефона, мне его один парень дал на церемонии, когда чек вручали. Если захочется сам знаешь чего, сказал.

Женский голос ответил: «Я занята». Я спросил, может, она знает еще чей телефон, и она дала мне целых два. Ну, взял такси, поехал по второму адресу. Не буду рассказывать, как все было, только у меня ничего не вышло. Слишком нервничал. Дело в том, что я повел себя так, что вроде все про все знаю, все умею, а она поняла: она старая была, старая, страшная... ужасно. И вела себя ужасно, и выглядела не лучше. Потасканная, вульгарная. Ну, вроде как экземпляр для коллекции совсем негодный, на который и глядеть не станешь, не то что накалывать. Я еще подумал: вдруг бы Миранда застала меня в этом виде? Ну, я уже сказал, я было попробовал, но не вышло, да я и не очень-то старался.

Я не из быстрых молодых людей, никогда локтями никого не расталкивал, у меня, как

говорится, более высокие устремления. Крачли часто говорил, в наше время, если локтями не поработаешь, ничего не добьешься, и еще он говорил: взгляни на старину Тома, многого он добился лизаньем вышестоящих задов? Крачли, на мой взгляд, слишком много себе позволял, я уж говорил и могу еще повторить: слишком со мной фамильярничал. Но и он знал, когда и кого надо облизать, лишь бы ему от этого что-нибудь обломилось. Подлизывался к мистери Уильямсу, например. «Ну-ка, побольше жизни, поактивнее, Клегг, — как-то сказал мне мистер Уильямс, когда я еще работал в отделе справок. — Люди любят, когда наши служащие улыбаются: неплохо и пошутить время от времени; не всякий рождается с этим даром, как Крачли, но почему не попробовать, может, и у нас получится, верно?» Ну уж это меня просто возмутило. Должен сказать, Ратуша эта мне до смерти надоела, я все равно собирался оттуда увольняться.

Я не изменился, нет, могу это доказать. Только была одна причина, почему тетушка Энни стала меня раздражать: я заинтересовался книгами, которые можно купить в этих магазинчиках в Сохо, ну там голые женщины и всякое такое<sup>[34]</sup>. Журналы с такими картинками удавалось от нее прятать, а вот книги мне хотелось купить, а нельзя было — вдруг бы она стала рыться? Я всегда мечтал научиться фотографировать и, конечно, сразу же купил фотоаппарат, «лейку», самой лучшей марки, с телеобъективом и всеми принадлежностями. Главная идея была — снимать бабочек в жизни, как знаменитый С. Бофуа; но еще раньше, когда, бывало, собираешь коллекцию, на такое наткнешься, в лесу ли, в поле, — не поверите, чего только парочки не выделывают, и места себе выбирают, постеснялись бы; так что эта мысль тоже была.

Конечно, случай с той женщиной меня все-таки расстроил, правда, были и еще всякие обстоятельства. Вот, к примеру, тетушке Энни вздумалось отправиться морем в Австралию, повидаться с сыном и навестить своего другого, младшего брата, Стива, с семьей. Ей взбрело в голову, что и я должен поехать. Но я ведь уже говорил, они с Мейбл надоели мне до смерти. Нет, я их не возненавидел, ничего подобного, но видеть их больше не хотел. Да и всюду всем сразу ясно было, что они такое, яснее даже, чем мне самому. Мелкие людишки, которые никогда до тех пор из дому носа не высовывали. Ну, к примеру, они требовали, чтобы мы всегда все делали вместе и чтоб я докладывал им, где был и чем занимался, если вдруг часок проводил без них.

Ну, после того, о чем я уже рассказывал, я им заявил, что не еду в Австралию. Ну, они не слишком возмутились, наверное, дошло наконец, что денежки-то мои.

В первый раз я отправился искать Миранду после того, как съездил в Саутгемптон, проводить тетушку Энни. Если точно, то это было десятого мая. Конкретных планов у меня не было. Правда, тетушке и Мейбл я сказал, что, может, уеду за границу, но на самом деле ничего еще для себя не решил. Тетушка Энни перепугалась, устроила мне перед отъездом серьезный разговор, что, мол, она надеется, я тут не женюсь, то есть пока она не познакомится с невестой. Распространялась про то, что деньги, разумеется, мои, и жизнь тоже моя, и какой я щедрый и великодушный, и всякое такое, только сразу было видно, она до смерти боится, что я женюсь на ком-нибудь и они потеряют все эти деньги, которых они, видите ли, так стыдятся. Я ее не осуждаю, это естественно, особенно когда у тебя дочь-калека. Я вообще-то считаю, таких, как Мейбл, надо безболезненно умерщвлять, впрочем, это к делу не относится.

Я думал, что сделать (я уже подготовил все заранее, купил самое лучшее в Лондоне оборудование), я думал отправиться в какую-нибудь местность, известную редкими видами и мутациями, и подобрать соответствующие серии для коллекции. Ну то есть поехать и пожить там сколько вздумается. Мне нужно было много чего собрать: несколько парусников, например, махаона, большую синюю голубянку, редкие фритиллярии, вересковую и селену и всякое такое<sup>[35]</sup>. Многие коллекционеры у нас могут позволить себе роскошь заняться всем этим только раз в жизни. Ну, еще я хотел заняться разными видами молей. Подумал, теперь-то могу себе это позволить. Еще до того, как мои родичи уехали, я стал учиться водить машину (брал уроки) и купил себе фургон, специально оборудованный для поездок.

Что я хочу сказать, я не планировал везти ее сюда, ко мне в гости, когда получил эти деньги, это случилось совершенно неожиданно.

Ну конечно, избавившись от тетушки Энни и Мейбл, я купил все те книжки; некоторые из них... ну, я просто не подозревал, что такое может быть, и, между прочим, все это было мне отвратительно, я подумал: вот сижу взаперти в гостинице с этой гадостью и все это так не похоже на мои мечты о нас с Мирандой. И вдруг я понял, что в своих мыслях о ней вроде совсем исключил ее из своей жизни, вроде мы не живем всего в нескольких милях друг от друга (я тогда переехал в гостиницу в Паддингтоне<sup>[36]</sup>), а ведь у меня не так уж много времени, чтобы выяснить, где она, не всю ведь жизнь мне ее искать. Ничего такого трудного и не оказалось, нашел в телефонной книге Художественное училище Слейда<sup>[37]</sup> и отправился туда утром в своем фургоне — ждать. Фургон, пожалуй, был единственной роскошью, которую я себе позволил. Я купил его, чтобы можно было все оборудование с собой возить в поездках по сельской местности, в заднем отделении было специальное устройство — откидная койка-гармошка, ее в любой момент можно было растянуть и лечь спать, и я еще подумал, если купить такой фургон, можно будет не таскать за собой повсюду тетушку и Мейбл, когда они вернутся. Я его не для того купил, для чего использовал. Все это было неожиданно, вдруг, вроде какого-то гениального озарения.

В первый день я ее так и не встретил, но на следующий наконец-то увидел. Она вышла в толпе студентов, они так и вились вокруг нее. У меня сердце заколотилось так, что чуть дурно не стало. Фотоаппарат я заранее подготовил, но не смог ничего сделать, не решился. Она совсем не изменилась, походка легкая, туфли без каблуков: она всегда такие носила, так что ей не нужно было противно семенить ногами, как другим. Движения свободные, видно, что она и не думала о парнях, которые ее окружали. И все время разговаривала с одним черноволосым, стрижка короткая и на лбу — челка, ну настоящий художник, прямо артист. Всего их было шестеро, но потом она и черноволосый перешли на другую сторону улицы. Я вышел из машины и отправился за ними. Они недалеко ушли, завернули в кафе.

И я туда же, против собственной воли, не знаю, с чего вдруг, вроде меня на аркане затащили. Там было полно народу, студенты, художники, актеры, и всякое такое, битники, в общем. Странные лица, странные картины и маски на стенах, думаю, что-нибудь такое под Африку.

И столько там было народу, такой стоял шум и гам, и я так волновался, что сначала не мог разглядеть, где она. Она сидела в дальнем зале, в конце. А я сел на табурет у стойки, так, чтоб ее видеть. Я не решался следить за ней слишком явно, и свет в том зале был притемненный. Вдруг смотрю, она стоит прямо рядом, у стойки. Я делал вид, что читаю газету, вот и не заметил, как она поднялась из-за столика. У меня щеки загорелись, прячусь



за газетой, буквы расплываются, боюсь даже краешком глаза на нее взглянуть, а она стоит вплотную, чуть не касаясь. Платье на ней в синюю и белую клетку, руки голые, золотятся от загара, светлые волосы рассыпались свободно по плечам, по спине, длинные, шелковистые.

Она говорит: «Дженни, мы совсем на мели, дай нам в долг пару сигарет, будь так добра!» — «И не подумаю!» — отвечает та из-за стойки. А она говорит: «Честное слово, только до завтра». И потом: «Ой, спасибо большое!» — это Дженни ей сигареты дала. Пять секунд — и все, она уже снова сидит со своим черноволосым, но только ее голос все изменил, она из мечты превратилась в живую, реальную. Не сумею объяснить, что такое было в ее голосе особенное. Конечно, слышно было, разговаривает человек воспитанный, культурный, но никакого тебе жеманства, барства, фу-ты ну-ты, ничего подобного. Она не выпрашивала сигареты, не требовала, просто спросила, и не было этого противного чувства, что кто-то тут выше, а кто-то — классом ниже. Я бы сказал, речь у нее была такая же легкая, свободная, как походка.

Я поскорей расплатился, чуть не бегом бросился к машине и — в «Креморн», в свой номер. Совсем расстроился. Отчасти потому, что ей приходится в долг брать сигареты — денег нет, а у меня — целых шестьдесят тысяч (десять тысяч я отдал тетушке Энни), и я бы мог все их положить к ее ногам, потому что так мне тогда хотелось, такое было чувство. Я чувствовал, что могу на все пойти, только бы узнать ее поближе, радовать ее и помогать, стать ее другом, чтобы открыто смотреть на нее, не шпионить. Ну вот, чтоб вы знали, как это со мной было, я взял конверт, положил туда деньги — у меня как раз было с собой пять фунтов, — написал: «Художественное училище Слейда, мисс Миранде Грей». Только, конечно, не отправил. Отправил бы, если б мог увидеть выражение ее лица, когда она это получит.

Тогда вот у меня впервые и зародилась мечта, которую я осуществил. Сначала мне представилось, что вот на нее нападает какой-то человек, а я ее спасаю. Потом как-то так повернулось, что человек этот — я сам, только я не делаю ей больно, никакого вреда не причиняю. Ну вот, вроде я увез ее в уединенный дом и держал ее там, как пленницу, но по-хорошему, без всяких. Постепенно она узнала, какой я, полюбила, дальше уже мечта была про то, как мы поженились и живем в хорошем современном доме, у нас дети, и всякое такое.

Мысли эти стали меня просто преследовать. Я перестал спать по ночам, а днем прямо себя не помнил. Сидел в «Креморне», не выходя из номера. Это уже не было больше мечтой. Я воображал, что так оно все и должно произойти на самом деле (конечно, я думал, все это одно воображение, больше ничего), и вот стал придумывать, каким путем все это осуществить, как это все устроить, что надо для этого сделать, и всякое такое. Думал, ведь я с ней так и не познакомлюсь никогда, если по-обыкновенному, но, если она будет со мной и увидит все мои хорошие качества, она поймет. Всегда была эта мысль, что она поймет.

Что я еще стал делать, так это читать самые классные газеты. Еще — по той же причине — стал ходить в Национальную галерею и к Тейту<sup>[38]</sup>. Мне там не больно нравилось, все равно как разглядывать витрины с иностранными экземплярами в энтомологическом зале Музея естественной истории: видно, что красивые, но ведь ты с ними незнаком, то есть, я хочу сказать, я ведь их не знаю так, как своих, английских. Но я все равно ходил, чтоб было о чем с ней говорить, чтоб не выглядеть невеждой.

В одной воскресной газете увидел объявление крупным шрифтом, в разделе «Продаются

дома». Я не искал ничего такого, просто перелистывал страницы и наткнулся. Объявление было необыкновенное: «ВДАЛИ ОТ ШУМНОЙ ТОЛПЫ»<sup>[39]</sup>, всего-навсего. А следом шло: «Старый сельский дом, очаровательное уединенное место, большой сад. 1 ч. езды от Лнд, 2 мили от ближ. поселка...» и т. д. В понедельник утром я уже катил туда посмотреть. Позвонил агенту по продаже недвижимости в Луисе и договорился, чтобы меня встретили. Купил карту Суссекса<sup>[40]</sup>. С деньгами все можно, никаких проблем.

Я ожидал увидеть какую-нибудь развалюху. Дом и точно выглядел очень старым, белый с черными балками, крыша — старинная черепица<sup>[41]</sup>. Стоял он совсем на отшибе. Я подъехал, и агент по недвижимости вышел меня встретить. Я-то думал, он будет постарше, а он был вроде меня, только из этих, из пижонов, весь набитый глупыми шутками, вовсе не смешными. Из кожи вон лез, чтоб показать: ему, мол, зазорно заниматься куплей-продажей, но дома продавать — не за прилавком торговать. Он меня своими расспросами сразу оттолкнул. Но я все-таки решил, раз уж я сюда добрался, лучше все как следует посмотреть. Комнаты мне показались не очень-то, но в доме были все современные удобства: электричество, телефон и всякое такое. Он раньше принадлежал какому-то отставному адмиралу или вроде того, а хозяин умер, и следующий владелец тоже неожиданно скончался, так что дом приходилось продавать по второму разу.

Повторяю, я поехал не затем, чтобы выяснить, а не подойдет ли этот дом для того, чтоб там кто-то тайно жил. Я даже не могу сказать, о чем в самом деле думал, когда поехал его смотреть, какие намерения были.

Не знаю. То, что потом делаешь, как-то заслоняет то, что раньше было.

А парень этот пристал ко мне, надо ему было знать, дом мне одному нужен или как. Я сказал — для тетки. Я правду сказал — сказал, будет ей сюрприз, когда из Австралии вернется, и всякое такое.

— А как насчет цены? — говорит.

А я как раз получил кучу денег, говорю, чтоб его добить.

Мы уже шли вниз по лестнице, когда он вдруг сказал самое главное. Я уж собирался отказаться, сказать, мол, маловат мне дом этот, не устраивает, ну, чтоб совсем его в порошок. Тут он и говорит:

— Ну вот, это все, еще только подвалы.

Чтоб спуститься в подвалы, надо было выйти из дома через черный ход. Парень этот достал из-под цветочного горшка ключ и открыл дверь — прямо рядом с черным ходом. Конечно, электричество было отключено, но у него нашелся фонарик. Вошли с солнца — так показалось мерзко, сыро, холодно. Каменные ступени вниз. Спустились, он стал водить лучом фонарика по стенам, полу, потолку. Когда-то стены белили, только очень давно. Побелка местами облупилась, стены казались пестрыми от грязных пятен.

— Под всем домом проходит, — сказал парень, — и еще вот это.

Повел фонариком, и я увидел в углу дверь, прямо против входа в подвал. За дверью — еще один подвал, четыре ступени вниз, глубже того, где мы стояли, и потолок пониже и вроде сводчатый, такие бывают в подвальных помещениях церквей. Ступеньки шли как-то вбок, не прямо, так что это помещение вроде отходило куда-то в сторону от главного.

— Хоть оргии тут устраивай, прямо то, что надо, — говорит.

— А это для чего? — спрашиваю, мимо ушей пропускаю его дурацкую шутку.

Он объясняет, мол, видимо, из-за того, что дом на отшибе, надо было где-то хранить большие запасы продуктов. А может быть, здесь когда-то была тайная католическая

молельня. Потом-то один электрик сказал, тут было убежище контрабандистов, когда они пробирались в Лондон из Нью-Хейвена.

Ну, мы пошли наверх, вышли снова на солнце. Когда он запер дверь и спрятал ключ под цветочным горшком, показалось, вроде ничего этого не было и нет. Как в ином мире побывал. И после все время было так. Проснусь — и будто все это мне приснилось, пока туда не спущусь.

Он взглянул на часы.

А я говорю: меня это заинтересовало. Очень. И так заволновался, что он удивленно на меня посмотрел, а я говорю, беру этот дом. Вот так вот, запросто. Сам себе удивляюсь. Потому что раньше я всегда мечтал о чем-нибудь очень современном, как теперь говорят, модерновом. Не о какой-нибудь древней развалюхе на отшибе.

Парень этот стоял как остолбенелый, так поражен был и что я дом хочу купить, и что так взволновался, а главное, думаю, тем, что у меня денег на это хватает. Все они так.

Он отправился назад в Луис, сказал, еще есть покупатели, он, мол, должен их привезти. А я сказал, останусь здесь, подожду в саду, подумаю, прежде чем окончательно решить.

Сад был очень неплохой, доходил до самого поля — тогда оно было засеяно люцерной, отличная вещь для бабочек. Поле это тянется прямо до подножия холма (это на севере). На востоке, по обеим сторонам дороги, — лес, а дорога идет через долину вверх, к Луису. На западе — поля. Фермерский дом примерно в миле за холмом, это самое ближнее жилье. На юг прекрасный вид открывается, если не принимать в расчет живую изгородь и деревья. Впрочем, их всего там несколько штук. И гараж хороший.

Вернулся к дому, достал из-под горшка ключ и снова спустился в подвал. Дальний, должно быть, уходит на три или четыре метра под землю. Сыро, стены влажные, холодные, ну, вроде как отсыревшее дерево зимой. Я не мог хорошо все рассмотреть, фонаря не было, только зажигалка. Мороз подирал по коже, и чувство такое, будто в склепе замурован, но я не суеверен.

Кто-нибудь скажет, мне крупно повезло, раз я с первого захода нашел то, что надо. Только я все равно нашел бы, рано или поздно. У меня же были деньги. И желание. Я бы даже сказал, воля. И, смешно сказать, то, что Крачли назвал бы «предприимчивостью». Когда я работал в Ратуше, никакой предприимчивости у меня и в помине не было, просто все там было не по мне. А вот здорово бы посмотреть, как Крачли провернул бы то, что провернул я прошлым летом. Не собираюсь в фанфары трубить по этому поводу, только все было не так-то просто сделать.

Тут на днях мне попался в газете «Афоризм дня»: «Цель для ума — что вода для тела». По моему скромному разумению, это очень верно. Когда целью моей жизни стала Миранда, то и я оказался не хуже других.

Пришлось заплатить на пятьсот фунтов больше, нашлись конкуренты. Меня обдирали как липку все кому не лень. Землемер, строитель, декораторы, мебельщики из Луиса. А мне было все равно, чего там, не в деньгах счастье. Я получал длиннющие письма от тетушки Энни и отвечал, указывая суммы вполтину меньше, чем приходилось платить.

Договорился с электриками, что подведут кабель в подвал, с сантехниками — про воду и канализацию. Представил дело так, что хочу заняться фотографией и плотницким делом и там будут мои мастерские. И не врал, плотничать и правда надо было много. И я уже сделал

несколько снимков, которые нельзя было проявлять у фотографа. Ничего такого, просто парочки.

В конце августа рабочие ушли, и я въехал. Ну, поначалу жил как во сне, правда, это скоро прошло. Во-первых, меня не оставляли в покое, а я этого никак не ожидал. Явился садовник — работать в саду, мол, он тут всегда работал. Отвратительно повел себя, когда я его выставил. Потом зашел деревенский священник, и мне пришлось ему нагругить. Хочу, чтобы меня оставили в покое, заявил я, я нонконформист и не желаю иметь ничего общего с деревней и вашим приходом. Ну, он задрал нос, фу-ты ну-ты, мол, его оскорбили, и отправился восвояси. Еще приезжали всякие люди с лавками на колесах, пришлось и их отвадить. Сказал, закупаю все сам в Луисе.

И телефонную линию отсоединил.

Потом завел обычай запираать ворота. Они были решетчатые, но с замком. Пару раз замечал, как торговцы заглядывают за решетку, но вскоре, видно, до всех дошло. Меня оставили в покое, и я мог заняться делом.

Пришлось потрудиться, не меньше месяца заняла у меня подготовка. Я же был совсем один, только сразу скажу: мне повезло, что нет настоящих друзей (не скажешь ведь, что те, в налоговом отделе, мне друзья. Я без них не скучал, они без меня и подавно).

Когда-то я всякую работу делал для тетушки Энни, дядя Дик меня научил. Неплохо плотничал, и всякое такое. И комнату я здорово оборудовал, хоть вроде и получается, что хвастаюсь. Когда там все как следует просохло, я уложил на пол несколько слоев войлока с водонепроницаемой пропиткой, а сверху — очень красивый, яркий, апельсинового цвета (очень веселенький), ковер от стены до стены, стены были заново побелены. Поставил кровать, комод. Стол, стулья и всякое такое. Установил ширму, за ней — умывальник и походный туалет и все такое, получилась вроде как маленькая отдельная квартирка. Еще купил книжные полки, книги всякие по искусству, даже несколько романов, чтоб выглядело все уютно, по-домашнему. Так оно и получилось в конце концов. Я не рискнул покупать картины, понимал: у нее может быть более передовой вкус.

Главная проблема, конечно, была с дверьми и шумом. Дверная рама в ее комнату — прочная, дубовая, но без двери, пришлось самому дверь делать, так, чтоб без зазора, без щелочки. Ну и работка, скажу я вам, самая трудная из всего. Одну дверь сделал — она не подошла, зато вторая получилась неплохо. Даже здоровому мужчине выломать ее было бы не под силу, а уж ей, маленькой, и подавно. Хорошо выдержанное дерево, доски двухдюймовые, изнутри обил металлическим листом, чтоб до дерева не добраться. Дверь получилась чуть не в тонну, навесить ее тоже была проблема, но я и это смог. Снаружи приделал десятидюймовые засовы. И еще придумал очень умную вещь. Из старых досок соорудил вроде книжный шкаф, только для инструментов и всякого такого, и вставил его в нишу двери. Если мимоходом взглянуть, так и кажется, просто ниша в стене, в нише — деревянные полки, старые, а убереешь этот шкаф, и вот тебе пожалуйста — дверь. И еще: шкаф этот никакого шума из-за двери не пропускал. Сделал еще засов с внутренней стороны двери, ведущей в подвал из сада, замок там уже был, но я хотел, чтобы меня совсем никто не мог побеспокоить. И сигнализацию поставил от воров, простой ревун.

Ну а в первом подвале я что сделал, я там поставил электроплиту и всякое такое для кухни, я ведь не знал, вдруг кто будет подглядывать, не таскать же мне подносы с едой туда-сюда, это могло бы показаться странным. Ну, все же дверь эта была позади дома, и я не очень



волновался, кругом-то поля да леса. Да еще забор высокий по обе стороны сада, а в других местах — живая изгородь, густая, тоже не больно много из-за нее углядишь. Все почти идеально. Я подумывал провести лестницу в подвал прямо изнутри, но оказалось очень дорого, и я не рискнул, чтоб не вызвать подозрений. Рабочим очень доверять тоже нельзя, все им надо знать, зачем да почему.

И все это время я не думал, что готовлюсь всерьез. Понимаю, это может показаться странным, но правда, так оно и было. В уме повторял: никогда такого не сделаю, только воображаю себе. И воображать бы не стал, если б не деньги и свободное время. Уверен, очень многие из тех, кто спокойненько живет себе да поживает, поступили бы так же, если б им, как мне, привалило. Я хочу сказать, дали бы себе волю, перестали бы притворяться и делали бы что хотят. Один учитель в школе любил повторять: «Власть развращает». А деньги — это власть.

Еще что сделал: купил кучу одежек для нее в Лондоне. Увидал в магазине продавщицу, как раз такого же размера, и назвал цвета, какие, я знал, Миранда всегда носила, да и купил все, что надо для девушки, все, что мне в магазине посоветовали. Придумал, что, мол, моя подружка едет с севера, а у нее по дороге все вещички украли, и я хочу сделать ей сюрприз, и всякое такое. Не думаю, что продавщица так уж и поверила, но ей было выгодно, покупка большая, почти на девяносто фунтов.

Про всякие предосторожности я сутками мог бы рассказывать. Например, отправлюсь в ее комнату и сижу там, представляю себе, что бы ей могло в голову прийти, как побег устроить. Думал, может, она понимает в электричестве — теперешние девчонки бог знает в чем разбираются, так что я всегда надевал ботинки на резине, старался приучить себя внимательно осматривать выключатели, прежде чем дотронуться до них. Установил специальный мусоросжигатель, чтобы сор из ее комнаты никуда не выносить. А если надо, и грязные вещи сжигать, чтоб никакой стирки, ничего. Всякое ведь могло случиться.

Ну, наконец я мог снова отправиться в Лондон, в «Креморн», где раньше останавливался. Несколько дней ее высматривал, но так и не встретил. Волновался ужасно, а все равно не собирался бросать это дело. Фотоаппарат я с собой не брал, понимал, риск очень большой, охота шла на крупную дичь, не просто за случайным снимком. Раза два заходил в то кафе. Как-то провел там чуть не два часа, делал вид, что книгу читаю. Она не появлялась. В голову стали лезть самые дикие мысли, мол, может, она умерла или бросила своим искусством заниматься. И вот однажды выхожу из вагона метро на Уоррен-стрит (я не хотел, чтоб мой фургон примелькался), смотрю — она, на другой платформе из поезда выходит. Все получилось очень просто. Пошел за ней следом, вышли на улицу, она направилась к училищу. Потом я стал поджидать ее у станции метро. Она, видно, не всегда возвращалась домой на метро, два дня я ее не видел. Но на третий, смотрю, переходит дорогу и — в метро. Так и выяснил, откуда она ездит. Из Хэмпстеда<sup>[42]</sup>. На следующий день я ждал ее уже там, у метро в Хэмпстеде. Она вышла, я — за ней, минут десять шли маленькими улочками до ее дома, я прошел мимо, а она зашла в калитку. Ну, я посмотрел, какой номер, а на углу — название улицы.

Хорошо в тот день потрудился, с результатом. За три дня до того я выехал из «Креморна» и теперь каждый день переезжал в другую гостиницу, чтоб не наследить. В фургоне я приготовил кровать и ремни, и несколько длинных шарфов. Собирался использовать

хлороформ — я раньше уже пользовался им, чтобы усыплять бабочек. Знакомый парень из городской лаборатории, где анализы делают, мне когда-то дал. Знаю, хлороформ не стареет, не теряет силу, но решил добавить малость четыреххлористого углерода, чтоб наверняка. Его везде запросто можно купить. Я хорошо поездил по Хэмпстеду на своем фургоне, знал уже весь район как свои пять пальцев, где въехать, где свернуть, куда выехать, чтоб по-быстрому. Все подготовил. Так что теперь надо было только выследить, выждать момент и делать дело. Надо сказать, я в эти дни сам себя не узнавал: все рассчитал, все предусмотрел, будто этим всю жизнь занимался. Как какой-нибудь тайный агент или детектив.

Прошло дней десять, и наконец все и случилось, знаете, как бывает, когда охотишься за бабочками. Отправляешься в определенное место, знаешь, там водятся редкие экземпляры, ждешь, а их нет и нет, а потом — ты и искать уже перестал — смотришь: да вот она, на цветке прямо перед тобой, как говорится, подали на блюдечке с золотой каемочкой.

В тот вечер я стоял у станции метро в Хэмпстеде, фургон отвел подальше, в переулок. День был ясный, но душновато, а потом затянуло и стало погромыхивать, пошел дождь. Я укрылся в дверях магазина против выхода и увидел: поднимается по ступенькам из тоннеля, а тут как хлынет. А на ней ни плаща, ни куртки, только свитерок. Забежала за угол, к главному входу, я туда, народу полно. Смотрю — она в телефонной будке. Потом вышла и вместо того, чтобы вверх, на холм пойти, как всегда, свернула совсем на другую улицу. Я за ней, сам думаю — ну все, ничего не выйдет, не могу понять, что у нее на уме. А она вдруг бегом в проулок и — в кино. Я сразу сообразил, в чем дело. Она, видно, позвонила хозяйке, что, мол, дождь сильный, переждет в кино, пока прояснится. Ну и понял — вот тот самый момент, если только ее никто не будет встречать. Когда она в кино вошла, я пошел посмотреть, сколько сеанс продолжается — два часа. Ну, тут я пошел на риск, видно, надеялся, судьба вмешается и меня остановит: отправился в кафе и поужинал. Потом вернулся к машине и припарковался так, чтоб видеть выход из кино. Не знал, как будет и что, может, у нее свидание с приятелем или встреча с подругой. Знаете, меня вроде несло, как в бурном потоке, мог налететь на камни и разбиться, а мог и выплыть.

Она вышла точно через два часа, совершенно одна. Дождь почти перестал, стемнело, тем более небо было затянуто тучами. Вижу, пошла к своей улице, вверх по холму. Тогда я тронулся, обогнал ее и встал в одном месте, знал, она обязательно там пройдет. Там как раз ответвление, где ее улица начинается, везде кусты и деревья, а на противоположной стороне — огромный дом на заросшем участке. Кажется, нежилой. Выше по холму еще дома, довольно большие. Сначала-то она шла по ярко освещенным улицам. Так что это было единственное удобное место.

Я что сделал: вшил в карман плаща специальный мешочек из пластика, с клапаном, и там хранил тампон, пропитанный смесью хлороформа и четыреххлористого углерода. Клапан плотно закрывался, так что запаха не чувствовалось и тампон оставался все время влажным, а когда надо, я мог его вытащить в один момент.

Вдруг появились две старухи с зонтиками (снова начал капать дождь), пошли вроде прямо ко мне. Вот незадача, только этого мне не хватало, она-то вот-вот подойдет. Я уж было решил все бросить. Нагнулся низко к сиденью, и они прошли, языками трещали как трещотки, думаю, ни меня не видели, ни фургона. Да там везде машины припаркованы, так что ничего такого, из ряда вон. Прошла минута. Я вылез, открыл заднюю дверь. Все по плану. Смотрю, она уже близко. Чуть было не проглядел, идет быстро, всего в нескольких шагах от

машины. Если бы вечер был посветлее, не знаю, что бы я сделал. А тут — темно, ветрено, деревья шумят. Кругом ни души. И она идет прямо ко мне. Забавно. Еще и напевает про себя.

Говорю, простите, пожалуйста, вы, случайно, не разбираетесь в собаках?

Останавливается, и так удивленно:

— А в чем дело?

Ужасно, говорю, только что сбил собаку. Выскочила прямо под колеса. Не знаю, как быть. Не сдохла, нет. А сам заглядываю в фургон сзади, вроде ужасно волнуюсь.

— Ой, бедняжка, — говорит. Подходит ко мне, точно как я рассчитывал, хочет поглядеть.

Крови нет, говорю, только не шевелится.

Ну, она обходит открытую дверцу, а я отстраняюсь, вроде чтобы ей видней. Она наклонилась вперед, вглядывается. Я окинул взглядом улицу — ни души, достал тампон, обхватил ее руками. Она — ни звука, так, видно, была поражена. Прижал тампон ей к лицу, закрыл рот и нос. Сам даже почувствовал запах. Прижимаю ее к себе, она бьется, как чертенок какой-нибудь. Только силенок маловато, она оказалась еще меньше, чем я думал, совсем худышка. Вдруг она как-то застонала, забулькала, ну, думаю, вот оно, начнет сопротивляться, придется сделать ей больно или бросить все и бежать. Готов был пуститься наутек. Оглянулся — никого. Тут вдруг она как-то обмякла. То я должен был ее держать, чтоб не билась, а тут пришлось поддерживать, чтобы не упала. Затолкал ее наполовину в фургон, рывком открыл переднюю дверцу и уже изнутри затащил ее в машину. Тихонько закрыл обе дверцы. Перекатил ее поближе и уложил на кровать. Моя. Я вдруг ужасно взволновался: смог, добился чего хотел. Такое дело.

Перво-наперво заклеил ей пластырем рот, затем привязал ее ремнями к койке, без спешки, без паники, все по плану. Перебрался на водительское место. И минуты не потратил. Поехал вверх по улице, медленно, не спеша, очень спокойно, завернул в лесопарк, я еще раньше там местечко наметил. Там опять перешел назад и привязал ее по-настоящему, не только ремни, но и шарфы пустил в ход и всякое такое, чтоб ей не больно было и чтоб не кричала, не билась в борта или еще что. Она еще не очнулась, но мне впереди было слышно, как она дышит, с хрипом, тяжело, как от простуды, так что я понимал — с ней все нормально.

У Редхилла я съехал с основного шоссе на боковую, все по плану, и перебрался назад, посмотреть, как она там. Включил фонарик на самый слабый, чтоб только чуть видно ее лицо. Она уже проснулась. Глаза огромные, только страха в них нет, вроде даже гордость какая-то, вроде она решила, не стану бояться, ни за что.

Говорю ей, не бойтесь, ничего дурного я вам не сделаю. А она все смотрит.

Получалось как-то неловко. Я не знал, что сказать. Говорю, с вами все в порядке, ничего не нужно? Но это прозвучало смешно. На самом деле я хотел спросить, может, ей на двор нужно.

Она затрясла головой. Я понял, что ей пластырь мешает, причиняет боль или что.

Говорю ей, мы уже далеко за городом, нет смысла кричать, если закричите, заклею рот снова, понятно?

Она кивнула, я принялся распутывать шарф, отклеил пластырь. Только успел это сделать, она подняла голову, наклонила вбок и ее вырвало. Это было отвратительно, запах хлороформа и рвоты... ужасно. Она ничего не сказала. Только застонала. Я потерял голову, не знал, как быть, чувствовал, надо домой скорее. Снова наклеил пластырь, замотал шарф.

Она сопротивлялась. Я слышал, как под моей ладонью, под пластырем, она говорит «нет, нет», это было ужасно, но я пересилил себя, довел дело до конца, знал, это все к лучшему. Потом перебрался на переднее сиденье, и мы поехали.

Добрались до дома около половины одиннадцатого. Я заехал в гараж, вышел, огляделся, убедился, что тут ничего за время моего отсутствия не произошло; не то чтоб я в самом деле чего опасался, да только лучше лишний раз все проверить: каши маслом не испортишь — так дядя Дик всегда говорил. Спустился в ее комнату, все было нормально, не очень душно, я дверь оставлял открытой. Я как-то раз там даже ночевал, проверял, хватает ли воздуха. Хватает. Еще раньше все приготовил, чтоб чай можно было пить, и всякое такое. В общем, было вполне уютно, по-домашнему.

Ну, наконец настал тот великий момент. Я вернулся в гараж, открыл заднюю дверцу фургона. Как и с начала операции, все шло по плану. Отвязал ремни, помог ей сесть на кровати. Ноги, конечно, не стал развязывать. Она опять стала биться, так что мне пришлось объяснить, мол, если так, опять пушу в ход хлороформ (показал ей пузырек), а если будет вести себя тихо, ничего плохого не сделаю. И все пошло как по маслу. Взял ее на руки, она совсем легонькая была, легче, чем я думал; снес ее вниз — без всяких; правда, в дверях своей комнаты она вдруг опять забилась, только что уж тут она могла — ничего. Положил ее на кровать. План был осуществлен.

Она была бледная, прямо белая совсем, синий свитерок запачкался (когда ее вырвало в машине), вид кошмарный, а страха в глазах нет. Странно. Просто смотрит на меня, глаза огромные. Ждет.

Я говорю, вот ваша комната. Если будете слушаться, никто вам ничего дурного не сделает. Кричать нет смысла, снаружи никто не услышит, да и нет никого вокруг. Я вас теперь оставляю; если захотите чаю или какао — там в буфете сэндвичи и печенье (я их в Хэмпстеде купил, когда она в кино пошла). Вернусь завтра утром, говорю.

Я видел, она хочет, чтоб я пластырь ей со рта отклеил, но делать этого не стал. Что я сделал, руки ей развязал и сейчас же вышел, дверь закрыл и засов успел задвинуть, пока она пыталась пластырь отодрать. Услышал, она кричит: «Вернитесь!» Потом еще раз, только потише. Потом дверь подергала, не очень сильно. Потом стала колотить в дверь чем-то твердым. Думаю, щеткой для волос. Не очень слышно было, но я все-таки вставил в дверной проем тот шкаф фальшивый и убедился, что снаружи ничего не слышно. Около часа еще пробыл в наружном подвале. Нужды не было, просто на всякий случай. Ей нечем было дверь ломать, даже если б силенок хватало: чашки — пластмассовые, чайник — из алюминия, даже ложки и те алюминиевые, и всякое такое.

Потом пошел наверх и улегся. Наконец-то она у меня в гостях, а больше мне ничего не нужно. Долго лежал без сна, думал. Не вполне был уверен, что фургон не выследят, но таких на улицах сотни, а видели его только те две тетки с зонтиками.

Ну, лежал так и думал: она там, внизу, тоже не спит. Стал мечтать, как спущусь утром к ней, утешу, успокою. Я был возбужден и, может быть, даже кое-чего лишнего позволил в мечтах, но не стал волноваться из-за этого, я знал, что моя любовь к ней вполне ее достойна. С этой мыслью и заснул.

После она всегда твердила, как я плохо поступил и как я все это должен глубже осознать. А я могу только повторить: в тот вечер я был ужасно счастлив, вроде сделал великое дело, забрался на Эверест или подвиг совершил в тылу врага. У меня было такое



счастливого чувства и намерения самые лучшие. Этого она так и не сумела понять никогда.

Короче говоря, тот вечер — самый счастливый в моей жизни (не считая, конечно, когда выиграл на скачках — с того ведь все и началось).

Вроде поймал большую синюю или адмирала<sup>[43]</sup>. Знаете, вроде такое сделал, что раз в жизни бывает, а то и не бывает никогда; о чем только мечтаешь и не ждешь, что сбудется.

Зря заводил будильник, проснулся гораздо раньше. Спустился вниз, дверь подвала за собой запер. Все по плану. Постучал в ее дверь, крикнул: вставать пора, подождал десять минут, засов отодвинул и вошел. Сумочку ее принес. Содержимое, конечно, проверил. Ничего такого там не было, только пилочка для ногтей и точилка с бритвенным лезвием, это все я вынул.

Горел свет, она стояла у кресла. Одетая. И опять смотрит во все глаза, ни признака страха, прямо храбрый портняжка. Странно, она выглядела совсем не так, как я ее представлял себе. Ну, правда, я ее вблизи толком не видал.

Говорю: надеюсь, вы хорошо спали.

— Где я, кто вы, зачем меня сюда привезли? — произносит холодно так, но без злости, без крика.

Этого я сказать вам не могу.

Она говорит:

— Я требую, чтобы меня выпустили. Это чудовищно.

Стоим и смотрим друг на друга.

— Отойдите, — говорит, — вы мне мешаете. Я уйду.

И идет прямо ко мне, прямо к двери. Стою, не двигаюсь с места. На мгновение подумал, сейчас бросится на меня, но она, видно, поняла, это будет глупо. Я твердо решил не поддаваться, знал, ей со мной не сладить. Она остановилась прямо передо мной, вплотную.

— С дороги, — говорит.

Вам пока нельзя уйти, говорю, пожалуйста, не заставляйте меня снова применить силу.

Она так холодно, презрительно на меня посмотрела, отвернулась и говорит:

— Не знаю, за кого вы меня принимаете. Если вы полагаете, что я дочь богатых родителей и они дадут за меня огромный выкуп, вы будете неприятно поражены.

Я знаю, кто вы, говорю, дело не в деньгах.

И больше ничего сказать не могу, волнуясь ужасно, это же она, она тут, во плоти. Прямо дрожу весь. Хочу глядеть на нее, на ее лицо, волосы, фигурку, такую тоненькую, нежную, и не могу — так она на меня смотрит. И странная какая-то тишина.

Вдруг она говорит, и тон вроде обвиняющий:

— Вы думаете, я вас не узнала?

Чувствую, начинаю краснеть и ничего с этим поделать не могу. Такое в мои планы не входило, и мысли не было, что она меня может узнать.

А она — медленно так:

— Вы — делопроизводитель из Городского совета.

Не понял, о чем вы, отвечаю.

— Вы только отрастили усы, — говорит.

Не могу понять, как она меня узнала. Может, думаю, видела где-нибудь в городе или из окон своего дома, я об этом и не подумал, в голове у меня все перемешалось, а она говорит:

— Ваш портрет был в местной газете.

Терпеть не могу, когда меня выводят на чистую воду, сам не знаю почему, и в таких случаях всегда пытаюсь оправдаться. То есть сочиняю какую-нибудь байку, чтоб все объяснить. Говорю, я только выполняю приказ.

— Приказ, — говорит, — чей?

Не могу сказать.

Она глаз с меня не сводит и держится подальше. Думаю, все-таки боится, что я на нее наброшусь.

— Чей приказ? — спрашивает снова.

А мне, как назло, ни одно имя в голову не приходит. И не знаю почему, вдруг вспоминаю — из тех, кого она могла знать, — имя управляющего отделением банка, где ее отец деньги держит. Я, когда в банк заходил, несколько раз видел, как ее отец с управляющим разговаривает.

Приказ Синглтона, говорю.

Ее прямо как громом поразило, а я быстро-быстро продолжаю, что, мол, не должен был ей сообщать, он меня убьет, если узнает, и всякое такое.

— Мистера Синглтона? — переспрашивает, вроде не расслышала.

Он совсем не тот, за кого его принимают, говорю.

Она вдруг опускается на ручку кресла, вроде ноги подкосились, вроде это уже последняя капля.

— Вы хотите сказать, это мистер Синглтон приказал вам меня похитить?

Я кивнул.

— Но я дружу с его дочерью. Он — наш... Ох, просто безумие какое-то, — говорит.

Разве вы не помните девушку с Пенхэрст-роуд?

— Какую девушку с Пенхэрст-роуд?

Ту, что исчезла три года назад.

Это я придумал. В то утро мозги у меня шевелились как надо, по-быстрому. Так мне казалось.

— Может быть, я тогда уезжала в школу. А что с ней случилось?

Не знаю. Только это его рук дело.

— Что — его рук дело?

Не знаю. Не знаю, что с ней случилось. Но что бы это ни было, это его рук дело. О ней больше никто никогда не слышал.

Вдруг она говорит:

— У вас нет сигареты?

Ужасно все нескладно вышло. Я неловко вытащил из кармана пачку сигарет, зажигалку, подошел, отдал ей. Может, надо было предложить ей огня, но в тот момент это выглядело бы глупо.

Говорю ей, вы совсем ничего не ели.

Сигарету она держала очень аристократично, двумя пальцами, между указательным и средним. Свитер вычистила. Очень было душно.

Никакого внимания на мои слова. Странно. Я понял, она догадалась, что все вранье.

— Вы хотите сказать, что мистер Синглтон — сексуальный маньяк и похищает девушек, а вы ему помогаете?

Говорю: а что мне остается делать? Знаете, я стащил из банка деньги, должен сесть в тюрьму, если станет известно. Так что он меня как в петле держит.

А она смотрит во все глаза. Глаза огромные, ясные, интерес в них так и светится, вроде ей очень хочется выяснить все до конца. (Но не было в них такого, знаете, нахального любопытства.)

— Вы ведь выиграли очень много денег, правда?

Тут я понял, что запутался. Опять почувствовал себя неловко, даже в жар бросило.

— Почему же вы не выплатили те деньги? Сколько выиграли — семьдесят тысяч? Неужели украли больше? А может, вам просто интересно ему помогать?

Я вам еще многого не могу сказать. Я целиком в его власти.

Она встала, руки в карманах юбки. Взглянула на себя в зеркало (конечно, металлическое, никакого стекла) — на этот раз на себя посмотрела, для разнообразия.

— Что он собирается со мной сделать?

Не знаю.

— А где он сам?

Думаю, скоро приедет.

Помолчала немного. Потом вдруг выражение лица стало такое, вроде она о чем-то плохом подумала. Поверила вроде, что, может, я правду сказал.

— Ну конечно, — говорит, — видимо, это его дом в Суффолке<sup>[44]</sup>.

Ну да, говорю, полагая, что умно ответил.

— Нет у него дома в Суффолке, — говорит она, да так это презрительно.

Вы можете и не знать, отвечаю. Не очень убедительно.

Она бы еще говорила, только я почувствовал, надо это прекратить, я и не подозревал, какая она сообразительная. Не как все нормальные люди.

Я пришел спросить, что вы хотите на завтрак, есть каша, яйца и всякое такое.

— Не хочу никакого завтрака, комната тесная, здесь ужасно. И что за наркоз вы мне дали?

Я не знал, что вас от него будет тошнить. Честное слово.

— Мистер Синглтон должен был вас предупредить.

Ясно было, она не поверила этой истории. Издевалась.

Я заторопился, говорю, чай или кофе, и она сказала, кофе, только если вы при мне первый выпьете. С этим я и ушел, вышел в наружный подвал. Прежде чем закрыл дверь, она мне:

— Вы зажигалку забыли.

У меня другая есть (на самом деле — нет).

— Спасибо, — говорит.

Странно, она вроде готова была улыбнуться.

Я приготовил растворимый кофе и принес ей. Она внимательно следила, как я отпил из чашки, потом сама сделала несколько глотков. И все время задавала всякие вопросы... Нет, все время я чувствовал, что она может задать мне вопрос, неожиданно спросить что-нибудь и застать врасплох, поймать. Например, долго ли ей придется тут быть, почему я с ней хорошо обращаюсь, и всякое такое. Я заготовил ответы, но знал, что они не очень-то убедительные, с ней было не так-то просто изображать и придумывать, чтоб поверила. Наконец говорю, сейчас пойду по магазинам, пусть подумает, что ей нужно. Сказал, куплю все, что ей нужно.

— Все? — спрашивает.

В пределах разумного, говорю.

— Это вам мистер Синглтон так приказал?

Нет, это будет все от меня лично.

— Мне нужно только, чтобы меня выпустили отсюда, — говорит. И все.

Больше не мог вытянуть из нее ни словечка. Ужасно. Вдруг замолчала, не желала говорить, так что мне пришлось оставить ее в покое.

И за обедом не желала разговаривать. Я приготовил все в наружном подвале и принес ей в комнату. Только она почти ничего не съела. Опять попыталась взять меня на пушку, и так это холодно со мной, прямо ледышка; ну да я и ухом не повел.

В тот вечер, после ужина, правда, она и тут почти не притронулась к еде, я пошел, сел у двери. Она курила, закрыв глаза, будто у нее от одного моего вида глаза устали.

— Я все время думаю... Про мистера Синглтона вы, конечно, сочинили. Я этому не верю. Во-первых, он просто не способен на такое, не тот человек. А если бы и был способен, то вам не стал бы поручать. И все эти фантастические приготовления... Нет, это не он.

Я молчал, глаз не мог поднять.

— Вам пришлось потрудиться, чтоб все это приготовить, вы о многом позаботились. Все эти одежки в шкафу. Книги по искусству. Я подсчитала, только одни книги обошлись вам в сорок три фунта. — Она словно говорила сама с собой. — Я ваша пленница, но вам хочется, чтобы пленнице было хорошо. Так что здесь возможны два предположения: вы похитили меня ради выкупа, может быть, вы гангстер.

Да нет, я же говорил вам.

— Вы знаете, кто я. И должны знать, что мой отец не богач, ничего похожего. Так что дело не в выкупе.

Жутко было слушать. Прямо сверхъестественно, как она все сообразила.

— Второе предположение — секс. Вы хотите со мной что-то сделать. — И внимательно так на меня смотрит.

Ясно было — это вопрос. Он мне прямо всю душу вывернул.

Вовсе нет. Я к вам со всем уважением. Я не из таких. Сказал это очень резко.

— Тогда вы сумасшедший. Хороший и добрый, но сумасшедший. — И отвернулась. Потом: — Вы ведь не станете отрицать, что сочинили все про мистера Синглтона?

Я хотел вам помягче все объяснить.

— Объяснить что? — спрашивает. — Насилие? Убийство?

Я этого не говорил, отвечаю. Как-то в разговорах с ней мне все время надо было защищаться. Раньше, в мечтах, все было наоборот.

— Зачем я здесь?

Вы — моя гостья.

— Ваша гостья?

Она поднялась с кресла, встала за спинкой, оперлась на нее, глаз с меня не сводит. Синий свитер она сняла, стоит, темное шерстяное платье, как школьная форма, и белая блузка под ним, пуговка у горла расстегнута. Волосы стянуты в косу. Лицо такое нежное. И храброе. И вот, сам не знаю отчего, вдруг представил, как она сидит у меня на коленях, тихо-тихо, и я так ласково провожу рукой по ее светлым шелковистым волосам, волосы рассыпались свободно, потом уже я видел, как она их распускала.

И вдруг я сказал: я люблю вас. С ума схожу.

Она говорит, таким странным, очень серьезным тоном:

— Я вижу. — И отвернулась.

Я знаю, это старомодно — признаваться в любви, я вообще не собирался этого делать, во всяком случае, не в этот момент. В мечтах всегда было так, что вот наступает такой день, мы смотрим друг другу в глаза, целуемся и ничего не говорим, только уж после всего. Один парень в армии, Нобби его звали, он все про женщин знал, так вот он говорил, нельзя никогда им говорить, что любишь. Даже если в самом деле любишь. Если уж надо сказать: «Я тебя люблю», то шутливым тоном, он говорил, вот тогда они будут за тобой бегать. Чтоб своего добиться, надо быть твердым. Глупо получилось. Я сто раз говорил себе, что нельзя так, пусть это получится естественно, и у нее, и у меня — у обоих. Но когда она уже была тут, у меня голова кругом пошла, я и потом часто говорил не то, что хотел.

Конечно, я не все ей рассказал. Рассказал, как работал в Ратуше и смотрел на нее в окно, мечтал о ней; как она себя вела, какая у нее походка, и как много она значила в моей жизни, и как выиграл деньги, и что знал, она и не взглянет никогда в мою сторону, хоть еще сто раз выиграй, и какой я одинокий. Когда я замолк, она сидела на кровати, разглядывала ковер на полу. Мы молчали довольно долго. Слышно было только, как бурчит вентилятор в наружном подвале.

Мне было неловко. Сидел весь красный.

— Вы полагаете, что, если станете держать меня здесь как пленницу, я смогу полюбить вас?

Я хочу, чтобы вы меня лучше узнали.

— Но ведь пока я здесь, вы останетесь для меня всего лишь похитителем. Это вы понимаете?

Я встал. Не хотел больше с ней оставаться.

— Постойте, — говорит и идет ко мне. — Я обещаю вам. Я понимаю. Честное слово. Отпустите меня. Я никому ничего не скажу, и ничего не случится.

Тут она впервые взглянула на меня по-доброму. Ее глаза говорили: доверься мне, поверь — ну прямо как словами. Смотрит на меня снизу вверх, глаза вроде улыбаются, сама волнуется, чуть не дрожит.

— Вы же можете. Мы могли бы стать друзьями. Я бы помогла вам. — И смотрит снизу вверх, мне в глаза. — Еще не поздно, — говорит.

Не могу передать, что я тогда чувствовал, просто больше не мог, должен был уйти; она причиняла мне такую боль. Закрыл дверь и ушел. Даже «спокойной ночи» не сказал.

Никто не поймет, все подумают, я просто добивался, чего все добиваются. Бывало, когда я смотрел на картинки в тех книгах, до ее появления в моем доме, я и сам так думал, а бывало, и сам не знал, чего хочу. Только когда она появилась, все стало по-другому, я уже не думал про те книги или как она будет позировать для снимков, такие вещи стали казаться мне отвратительными, я ведь знал, что они и ей отвратительны. В ней было что-то такое хорошее, что я и сам становился, не мог не стать, таким же хорошим, видно было, она ничего другого от меня и не ждет. Я хочу сказать, когда она в самом деле появилась, была тут, рядом, все остальное казалось таким дурным, противным. Она была другая, не такая, как те женщины, которых совсем не уважаешь и тебе все равно, что бы ты ни делал. Ее нельзя было не уважать. И надо было вести себя осторожно.

В ту ночь я почти не спал: меня просто поразило, как все вышло, что я ей рассказал так



много всего в первый же день, и как ей удалось выставить меня дураком. Были минуты — мне хотелось сбежать вниз и отвезти ее назад в Лондон, как она просила. А потом уехать за границу. Но представил ее лицо и косичку, заплетенную неровно и как-то криво лежавшую на спине, и как она стоит, как движется по комнате, ее огромные ясные глаза, и понял — не смогу ее отпустить.

После завтрака — на этот раз она съела немножко овсянки и выпила кофе — мы совсем ни о чем не говорили. Когда я пришел, она уже встала и оделась, и постель была застелена не так, как раньше, должно быть, в эту ночь она все-таки спала. Ну, когда я уже уходил, она говорит:

— Мне хотелось бы поговорить с вами.

Я остановился.

— Сядьте, — говорит.

Я сел на стул у ступеней.

— Послушайте, это же безумие. Если вы действительно любите меня, если вкладываете в слово «любить» его истинный смысл, вы просто не можете хотеть, чтобы я оставалась здесь пленницей. Вы же видите, мне здесь плохо. Воздух... ночью я не могу дышать, я просыпаюсь с головной болью. Я умру, если останусь здесь надолго.

Она была в самом деле огорчена и встревожена.

Обещаю, это будет не очень долго.

Она встала, подошла к комоду, смотрит на меня пристально.

— Как вас зовут? — спрашивает.

Клегг, говорю.

— Нет, как ваше имя?

Фердинанд.

Она быстро взглянула на меня, глаза такие умные.

— Это неправда, — говорит.

А у меня в пиджаке, в кармане, лежал бумажник с инициалами, тисненными золотом, я себе еще в Лондоне купил, показываю ей. Она же не знает, что Ф означает Фредерик. А мне всегда нравилось имя Фердинанд, даже еще до того, как увидел Миранду. В нем слышится что-то благородное, заграничное. Дядюшка Дик меня иногда называл «лорд Фердинанд Клегг». В шутку. Маркиз де Жук, такой титул мне придумал.

Такое имя мне дали, говорю.

— Вас, видимо, называют Ферди, сокращенно, или Ферд?

Нет, всегда только Фердинанд.

— Послушайте, Фердинанд, я не знаю, что вы нашли во мне, почему полюбили. Может быть, и я могла бы полюбить вас. Но не здесь же. Я... — Казалось, она не знает, что сказать, это было совсем для нее необычно. — Я люблю мягких, добрых людей. Но я никак не смогла бы полюбить вас в этом подвале. Не только вас, никого другого. Никогда.

Я говорю: я ведь просто хочу узнать вас получше.

Она присела на край комода, внимательно следила, какое впечатление производят ее слова. В мою душу закралось подозрение. Я понял — это проверка.

— Кто же похищает людей, чтобы узнать их получше?

Я очень хочу узнать вас получше. В Лондоне у меня не было бы такой возможности. Я ведь не очень умный, и всякое такое. Не вашего уровня. В гробу вы видали таких, как я, там, в вашем Лондоне.

— Это несправедливо. Я ведь не сноб. Я сама снобов терпеть не могу. Никогда не сужу по первому впечатлению.

Это я не про вас, говорю.

— Ненавижу снобизм, — говорит, прямо с яростью какой-то. У нее была манера некоторые слова с силой выговаривать, с нажимом. — У меня в Лондоне есть друзья из — ну, как это говорится — из рабочих, то есть из семей рабочих. Мы просто не придаем этому значения.

Ну да, вроде Питера Кейтсби, говорю. (Это тот парень со спортивной машиной.)

— Питер? Да я его не видела уже целую вечность. Он просто богатый балбес, и мещанин к тому же.

А я прямо как сейчас вижу: шикарный спортивный автомобиль и она туда садится. Не мог ей поверить.

— Наверное, про меня уже есть в газетах.

Не читал.

— Вас могут посадить надолго.

Стоит того, отвечаю, даже если пожизненно.

— Я обещаю, я клянусь вам, если вы меня отпустите, я никому не скажу. Я придумаю что-нибудь, как-нибудь всем объясню. Устрою так, что мы будем часто видеться, сколько вы захотите, в любое время, когда нет занятий, никто ничего не будет знать, только вы и я.

Не могу, отвечаю. Не теперь. Чувствовал себя, вроде я — какой-то жестокий деспот, так она умоляла.

— Если вы меня теперь отпустите, я смогу восхищаться вами. Думать, ведь я была целиком в его власти, но он великодушен и повел себя как истинный джентльмен.

Не могу, говорю. И не просите. Пожалуйста, не просите об этом.

— Я думаю, такого человека, как вы, интересно узнать поближе. — И сидит очень прямо на краю комода, смотрит пристально.

Мне надо идти, говорю. И бросился прочь, так заторопился, что запнулся о верхнюю ступеньку. Она спрыгнула с комода и стоит, смотрит вверх на меня, лицо такое странное.

— Ну пожалуйста, — говорит.

Мягко так, по-хорошему. Трудно было устоять.

Знаете, на что это все было похоже, вроде охотишься за бабочкой, за нужным экземпляром, а сачка у тебя нет, и приходится брать двумя пальцами, указательным и средним (а у меня это всегда здорово получалось), подходишь медленно-медленно сзади, и вот она у тебя в пальцах, и тут нужно зажать торакс, перекрыть дыхание, и она забьется, забьется... Это не так просто, как бывает, когда усыпляешь их в морилке с эфиром или еще чем. А с ней было в сто раз трудней — ее-то я не собирался убивать, вовсе этого не хотел.

Она часто распространялась о том, как презирает классовые барьеры, но меня так просто не проведешь. Людей выдает не то, что они говорят, а как говорят. Посмотреть только, как она себя ведет, и сразу видно, как воспитана, где выросла. Никакого жеманства, фу-ты ну-ты, как у других, в ней не было, но все равно все вылезало наружу. Стоило только мне сделать что не так или не так сказать, сразу саркастический тон, нетерпимость. Да перестаньте вы думать о классовых барьерах, скажет. Как богач советует бедняку перестать думать о деньгах.

Я на нее зла не держу, наверное, она говорила и делала то, что меня так возмущало, чтобы доказать: она вовсе не такая уж рафинированная. Только куда же денешься, от себя не

уйдешь. Бывало, рассердится, вскинется и выдаст мне по первое число в самом их лучшем стиле.

Между нами всегда стоял классовый барьер.

В то утро я поехал в Луис. Все-таки хотел взглянуть на газеты. Купил все, что было в продаже. В каждой что-нибудь напечатали. В дешевых даже большие были статьи, в двух — с фотографиями. Странно было читать эти сообщения. Даже кое-что новое узнал.

Исчезла студентка Миранда Грей, 20 лет, блондинка, волосы длинные. В прошлом году удостоена повышенной стипендии в знаменитом Художественном училище Слейда в Лондоне. В течение учебного семестра проживала по адресу: Хэмнет-роуд, 29, Северо-Запад, 3, у своей тетки мисс С. Вэнбраф-Джонс. Именно она и сообщила об исчезновении племянницы в полицию вчера поздно вечером.

Во вторник после занятий Миранда позвонила по телефону и предупредила, что идет в кино и вернется домой около восьми. Это последнее, что о ней известно.

Рядом — фотография, под ней большими буквами: **ВЫ ВИДЕЛИ ЭТУ ДЕВУШКУ?**  
В другой газете сообщалось (смех, да и только):

«В последнее время жители Хэмпстеда испытывали все нарастающую тревогу из-за так называемых автоволок. Пирс Брафтон, соученик и близкий друг Миранды Грей, с которым ваш корреспондент встретился в кафе, где молодые люди часто бывали вместе, рассказал: «Во вторник Миранда была в прекрасном настроении. Мы условились пойти с ней сегодня на выставку. Она знает, что такое Лондон, и никогда не согласилась бы сесть в машину к незнакомому человеку. Я очень обеспокоен случившимся».

Представитель училища Слейда заявил: «Миранда — одна из самых многообещающих студенток второго курса. Мы уверены, что с ней не случилось ничего дурного, все это объяснится со временем. Художественные натуры непредсказуемы, особенно в юности».

Тайна остается неразрешимой. Просим всех, кто видел Миранду вечером во вторник, слышал или заметил что-либо подозрительное в р-не Хэмпстеда, сообщить об этом в полицию».

В газете описывалась ее одежда и всякое такое и была помещена фотография. Еще одна газета сообщала, что полиция собирается обыскать все пруды в Хэмпстед-Хит. В другой говорилось, что Миранда и Пирс Брафтон были неофициально помолвлены. Я подумал: это, наверное, тот битник, с которым я ее видел в кафе. Еще в одной статье говорилось, что Миранда пользовалась в училище популярностью как человек очень добрый, всегда готовый прийти на помощь. И во всех — что она красивая. И фотографии. Была бы она уродина какая-нибудь, хватило бы двух строчек на последней странице.

Поехал обратно, остановился на обочине и, сидя в фургоне, прочел все, что говорилось в газетах. Чувство такое было... Что в моих руках — власть. Даже не знаю, с чего вдруг. Ну, вроде все ее ищут, а я один знаю, в чем дело. Поехал домой и по дороге решил окончательно — ничего ей не скажу.

Ну и конечно, когда я вернулся, первый ее вопрос был про газеты. Есть там что-нибудь

про нее или нет? Я сказал, мол, не смотрел и смотреть не собираюсь. Мол, газеты меня не интересуют, все, что в них пишут, сплошная чепуха. Она не настаивала.

Я не давал ей газет. Не давал ей слушать радио или смотреть телевизор. Как-то, до того еще, как она приехала ко мне, мне попалась книжка, называется «Тайны гестапо», про пытки и всякое такое, что делалось во время войны, и как тяжело было в тюрьме привыкнуть к тому, что нет никаких вестей с воли. Это была одна из самых тяжелых мук. Я хочу сказать, узникам же не разрешали ничего знать, даже разговаривать друг с другом запрещали, так что они были совершенно отрезаны от привычной жизни, от внешнего мира. И люди были сломлены. Ну конечно, мне не хотелось, чтобы она была сломлена, у меня не было такой цели, как у гестапо. Но я подумал: лучше, если она окажется совсем отрезанной от внешнего мира, тогда будет больше думать обо мне. Так что хоть она много раз пыталась уговорить меня принести ей газеты или дать послушать радио, я не соглашался. А в первые дни я не хотел, чтобы она прочла, чем там полиция занимается, чтоб ее отыскать, и всякое такое. Она бы только разволновалась. Так что, можно сказать, это была даже забота с моей стороны.

В тот вечер я приготовил ей ужин — разогрел свежемороженого цыпленка в белом соусе с зеленым горошком, она поела, и ей вроде понравилось. После я спросил: можно, побуду у вас здесь немного?

— Как хотите, — говорит.

Сидит на кровати, одеяло сложила вроде диванной подушки, оперлась спиной, ноги по-турецки поджала, прикрыла юбкой колени. Курит и рассматривает репродукции в альбоме, который я ей купил. Потом говорит:

— Вы разбираетесь в живописи?

Не настолько, чтобы ее понимать.

— Я так и знала. Иначе вы не заточили бы в этом подвале ни в чем не повинного человека.

Не вижу никакой связи, говорю.

Она закрыла книгу и говорит:

— Расскажите мне о себе. Расскажите, что вы делаете в свободное время?

Я — энтомолог. Коллекционирую бабочек.

— Ну конечно же, — говорит. — Вспомнила, в газете об этом писали. А теперь вы включили в свою коллекцию меня.

Я подумал, ей это кажется забавным, и ответил, что, мол, фигурально выражаясь, можно и так сказать.

— Нет, не фигурально, — говорит, — а буквально. Держите меня в этой комнатухе, словно на булавку накололи, приходите любоваться, как на редкий экземпляр.

Ну что вы. Я совсем не так это воспринимаю.

— Знаете, я ведь буддистка. Я против тех, кто отнимает жизнь, даже у насекомых.

Да? А цыпленка-то съели, говорю. Хорошо ей врезал.

— Ну и презираю себя за это. Если бы я была сильнее и лучше, я стала бы вегетарианкой.

Я говорю: если бы вы мне сказали, брось коллекционировать бабочек, все бросил бы. Я сделаю все, о чем бы вы ни попросили.

— Только бы мне не вылететь отсюда? — говорит.

Пожалуйста, не будем об этом. Это ни к чему не приведет.

— Все равно я не смогла бы с уважением относиться к человеку, к мужчине особенно, если бы он только и делал, что стремился своими поступками мне угодить. Мне бы хотелось, чтобы он эти поступки совершал, только если сам считает их правильными.

Все время пыталась меня уколоть. Вот, кажется, говорим о совсем невинных вещах, и вдруг — как ножом в спину. Я промолчал.

— И долго я тут буду находиться?

Не знаю, говорю. Зависит от обстоятельств.

— Каких обстоятельств?

Я не ответил. Не мог.

— От того, полюблю я вас или нет? — сварливо так сказала, зло. — Если так, то мне придется пробыть здесь до самой смерти.

Я и на это промолчал.

— Уходите, — говорит, — уходите и подумайте над тем, что я вам сказала.

На следующее утро она впервые попыталась совершить побег. Врасплох не застала, конечно, но это было мне хорошим уроком. Она позавтракала, а потом говорит, у кровати ножка отвинтилась, задняя, в самом углу у стены, и она боится, кровать может опрокинуться. Говорит, гайка там отошла. Как последний дурак, отправился ей помочь поправить это дело, только наклонился, она как меня толкнет и мимо меня, к двери. По ступенькам взлетела как молния, в одно мгновение. Ну, я ей позволил это сделать, дверь была на специальном крюке, чтоб не захлопнулась, и еще клин был вставлен для подстраховки. Она как раз пыталась этот клин выбить, когда я бросился за ней. Ну, она повернулась и бежать. И кричит: «Помогите, помогите» — и дальше вверх по ступенькам, к наружной двери, которая, конечно, заперта на ключ. Уж она ее и дергала, и толкала, и билась в нее, и все кричит, кричит. Тут я ее схватил. Не хотел, но ведь надо было что-то делать. Обхватил ее вокруг талии одной рукой, другой зажал рот и потащил вниз, назад в ее комнату. Она билась, дрыгала ногами, но ведь она — малявка, а я хоть и не Атлант, но и не слабак какой-нибудь. В конце концов она ослабела, обмякла, и я ее отпустил. Она постояла минутку, а потом вдруг бросилась ко мне и вlepила пощечину. По-настоящему мне и больно-то не было, но шок был ужасный, я ведь ничего подобного не ожидал. И это после того, как я вел себя с ней вполне благоразумно. Другой на моем месте давно бы голову потерял. Потом она ушла к себе в комнату и дверь хлопнула. Мне очень хотелось пойти за ней и все ей высказать по правде, как есть, но я видел, что она злится. В глазах — прямо ненависть какая-то. Так что я запер дверь на засов и вставил шкаф в нишу.

Ну, что дальше — дальше она перестала со мной разговаривать. За обедом в тот день — ни слова, хоть я пытался с ней поговорить и был согласен забыть, что случилось. Только посмотрела презрительно. Вечером — то же самое. Когда я пришел убрать со стола, протянула мне поднос и отвернулась. Очень ясно показала, мол, не хочет, чтоб я остался с ней посидеть. Я-то думал, у нее это пройдет, только на другой день стало еще хуже. Не только разговаривать не желала, но и есть.

Пожалуйста, говорю, не надо так. Смысла нет.

А она не отвечает, не смотрит даже.

На следующий день — то же самое. Не ест, не разговаривает. Я все ждал, она наденет что-нибудь из вещичек, что я ей купил, но она все ходила в своей белой блузке и платье из



зеленой шотландки. Я стал беспокоиться по-настоящему, не знал, сколько времени человек может обходиться без пищи, она казалась мне такой бледной и слабенькой. И все время сидела на кровати, опершись боком о стену, ко мне спиной, вид такой несчастный, прямо не знал, что делать.

На следующий день принес ей кофе на завтрак и хлебцы красиво поджарил, кашу и джем. Поставил на стол, пусть постоит, пусть она запах почувствует.

Потом говорю: я не жду, чтобы вы меня до конца поняли, не жду, чтобы полюбили по-настоящему, как это у всех людей бывает; я только хочу, чтоб вы постарались меня понять, насколько можете, и хоть немножко расположились ко мне, если только можете.

Она не пошевелилась.

Я ей: ну давайте договоримся. Я скажу вам, когда вы сможете уехать, но на определенных условиях.

Не знаю, зачем я это сказал. На самом деле знал ведь, что никогда не смогу ее отпустить. Хотя это и не было таким уж наглым враньем. Я часто думал, она уедет, когда мы с ней договоримся, мол, слово есть слово, и всякое такое. А потом думал, нет, не могу ее отпустить.

Она повернулась и смотрит пристально. Первые признаки жизни за целых три дня.

Говорю: мои условия такие, чтобы вы ели и разговаривали со мной, как раньше, и не пытались сбежать.

— С последним условием я никогда не соглашусь.

А с первыми двумя? — говорю. (Сам думаю, если даже пообещает не устраивать побегов, все равно придется быть настороже, так что последнее условие все равно смысла не имеет.)

— Вы же не сказали когда, — отвечает.

Через шесть недель, говорю.

Она снова отвернулась.

Помолчал и говорю, ну ладно, через пять.

— Я остаюсь здесь на неделю, и ни на день больше.

Ну, я сказал, на это никогда не соглашусь, и она опять отвернулась. И плачет. Видел, плечи у нее задрожали, мне захотелось подойти к ней, и я шагнул к кровати, только она так резко повернулась, наверное, думала, я собираюсь на нее наброситься. Глаза огромные, полные слез. Мокрые щеки. Ужасно расстроился, больно было смотреть.

Пожалуйста, будьте благоразумны, говорю, вы же знаете теперь, что вы для меня, разве вы не понимаете, я не стал бы все это делать ради того, чтоб вы прожили здесь еще только неделю.

— Ненавижу, ненавижу вас, — говорит.

Даю вам слово. Пройдет этот срок, и вы уедете, как только захотите.

Она не соглашалась. Странно. Сидит, смотрит на меня, слезы текут, покраснелась вся. Думал, сейчас вскочит, опять набросится, вид был у нее такой. Но она стала вытирать глаза. Потом закурила сигарету. И говорит:

— Две недели.

Я отвечаю: вы говорите — две, а я говорю — пять. Ну хорошо, пусть будет ровно месяц. До четырнадцатого ноября.

Она помолчала, потом:

— Четыре недели — это до одиннадцатого ноября.

Я очень за нее беспокоился, хотел закруглить это дело, поэтому сказал, что имел в виду календарный месяц, но пусть будет двадцать восемь дней, раз она так этого хочет. Мол, дарю ей лишних три дня.

— Очень вам благодарна. — Тон, конечно, саркастический.

Протянул ей чашку с кофе, она взяла. Но прежде чем сделать глоток, говорит:

— Я тоже хочу поставить вам свои условия. Я не могу все время жить здесь, в подвале. Мне нужны свежий воздух и дневной свет. И горячая ванна, хотя бы время от времени. Мне нужны материалы для работы. Радио или проигрыватель. Мне нужно купить кое-что в аптеке. Нужны свежие фрукты и овощи. И мне нужно двигаться, а здесь нет места.

Я говорю, не могу выпустить вас в сад, вы же опять устроите побег.

Она выпрямилась на кровати. Видно, до этого немножко притворялась, уж очень быстро эта перемена произошла.

— Вы знаете, что такое «под честное слово»?

Я сказал «да».

— Вы могли бы под честное слово разрешить мне выйти на воздух? Я могу пообещать, что не крикну и не сделаю попытки сбежать.

Говорю, вы завтракайте, а я пока подумаю.

— Нет! Не так уж много я прошу. Если этот дом действительно стоит на отшибе, риск вовсе не велик.

Еще как на отшибе, говорю. А сам не могу решиться.

— Тогда я снова объявляю голодовку.

И отвернулась. И в самом деле осуществляла нажим, как теперь говорят.

Конечно, у вас будут материалы для работы, говорю. Вам надо было всего-навсего сказать мне об этом. И проигрыватель. И пластинки какие хотите. И книги. И еда какая хотите. Я же говорил, только скажите, и все будет. Все, что хотите.

— А свежий воздух? — Сама даже головы не поворачивает.

Это слишком опасно.

Ну, тут наступила тишина. Погромче слов. И я уступил: может быть, поздно вечером. Посмотрим.

— Когда? — наконец повернулась.

Я должен подумать. Придется вас связать.

— Но я же дам честное слово.

Либо так, либо никак, говорю.

— А ванна?

Можно что-нибудь придумать.

— Мне нужна настоящая горячая ванна, в настоящей ванной. В этом доме не может не быть ванной.

Ну, я о чем часто думал, я думал, как мне хочется, чтобы она увидела мой дом и обстановку, ковры и всякое такое. И мне хотелось, чтоб она побывала наверху, в доме. Когда я мечтал о ней по ночам, в мечтах мы, конечно, всегда были вместе наверху, а не у нее в подвале. Такой уж я человек, иногда поддаюсь порыву, иду на риск и делаю то, что другой на моем месте нипочем бы не сделал.

Посмотрим, говорю. Надо все подготовить.

— Если я даю слово, я его не нарушаю.

Не сомневаюсь, говорю.

Такие дела.

Это все, так сказать, очистило воздух. Я ее стал еще больше уважать, и она меня. Перво-наперво она составила список, что ей нужно. Надо было найти в Луисе магазин для художников и купить особый сорт бумаги, разные карандаши и всякое такое: сепию, китайскую тушь, кисти колонковые и всякие другие, разных форм и размеров. Потом еще что-то в аптеке, дезодоранты и всякое такое. Конечно, опасно было покупать всякие женские вещи, мне-то они не могли понадобиться, но я и на этот риск пошел. Еще записала, какие нужны продукты: свежемолотый кофе, много фруктов и овощей и зелени — очень ей это важно было. Во всяком случае, после уж она почти каждый день составляла списки, что купить, и говорила, как это надо приготовить, ну прямо как если у тебя жена есть, только здоровьем слабая, так что тебе приходится самому покупки делать, по магазинам ходить. В Луисе я соблюдал осторожность, никогда не ходил в один магазин два раза подряд, чтоб не подумали, что слишком много покупок делаю для одного. Почему-то мне всегда казалось, люди знают, что я один.

В тот же день купил ей проигрыватель, маленький, но, должен сказать, она была очень довольна. Я не хотел, чтобы она догадалась, что я ничего не смыслю в музыке, увидел пластинку: какой-то симфонический оркестр играет Моцарта — и купил. И очень удачно: ей понравилась пластинка, заодно — и я, раз уж такое купил. Как-то, гораздо позже, мы вместе слушали эту музыку, и она плакала. То есть на глазах у нее были слезы. После сказала мне: он писал эту музыку, умирая, и знал, что умирает. Она была очень музыкальна, а мне что эта музыка, что другая — одинаково.

На следующий день она опять завела разговор про ванну и свежий воздух. Я не знал, что делать; поднялся в ванную комнату подумать обо всем, ничего не обещал. Окно в ванной выходило в сад, над крыльцом около двери в подвал, так что тут было спокойно. В конце концов подобрал несколько планок и привинтил к косякам трехдюймовыми винтами, зашил окно изнутри, так что никаких световых сигналов и вылезти нельзя. Да и не похоже, чтоб кто-нибудь оказался поблизости в поздний час.

Ну, ванную, таким образом, подготовил.

Что я еще сделал, я представил, что она здесь, в доме, со мной, и вроде прошел с ней снизу доверху, стараясь увидеть все опасные места. В нижнем этаже все окна были с внутренними ставнями, они легко закрывались и даже запирались (а потом уж я и засовы приделал), так что она ничьего внимания через окно привлечь не могла и никакой любитель совать нос в чужие дела не мог бы к нам заглянуть. В кухне я все проверил, чтоб никакие ножи и всякое такое не попались под руку. Обо всем подумал, продумал всякие способы устроить попытку к бегству, какие ей в голову могли прийти, и наконец почувствовал, что могу быть спокоен.

Ну, после ужина она опять за меня принялась, мол, как насчет ванны, и всякое такое. Я подождал, пока она начнет дуться, и говорю, ладно уж, рискну, но, если вы нарушите слово, сидеть вам тут безвылазно.

— Я никогда не нарушаю своего слова.

Клянетесь честью?

— Даю вам честное слово, что не буду пытаться бежать.

И подавать сигналы.

— И подавать сигналы.

Придется мне вас связать.

— Но это оскорбительно.

Я бы не стал слишком винить вас, если бы вы нарушили слово.

— Но я...

Она замолчала, пожала плечами, повернулась и руки сложила за спиной. У меня наготове был шарф, чтоб не так больно впивался шнур, я туго связал ей руки, но не до боли, потом хотел ей рот заклеить, но она сказала, сначала вещи соберите для купания, и (я очень был этому рад) выбрала кое-что из одежек, которые я для нее купил.

Взял ее вещи и пошел первым вверх по ступенькам, в наружный подвал, а она осталась, ждала, пока я отопру дверь в сад, и поднялась, когда я, послушав и убедившись, что нигде никого, велел ей подняться.

Конечно, было уже совсем темно, но ясно, и можно было различить несколько звезд на небе. Я крепко держал ее за руку повыше локтя; дал ей побыть на воздухе пять минут. Слышно было, как она дышит, глубоко так. Очень все было романтично, стоим рядом, ее голова мне и до плеча не достает.

Говорю: можете на слух убедиться, как мы от всех далеко.

Пять минут кончились, мы пошли в дом (пришлось ее силком тащить), прошли через кухню и столовую в холл и наверх по лестнице, к ванной.

Говорю ей: на двери нет замка, ее даже захлопнуть нельзя, я специально брусок прибил, но я не нарушу вашего уединения при условии, что вы сдержите свое слово. Я буду здесь.

На площадке лестницы я заранее поставил кресло.

Говорю, теперь развяжу вам руки, если вы пообещаете не отклеивать со рта пластырь. Кивните, если согласны.

Ну, она кивнула, я развязал шнур, освободил ей руки. Она их стала растирать, по-моему, просто мне назло, потом пошла в ванную.

Все прошло гладко, я слышал, как она принимает ванну, плещется там, и всякое такое, все нормально, но, когда она вышла, я прямо вздрогнул. Она отклеила пластырь. Это был первый шок. Второй — то, как она выглядела. Она очень изменилась: в другой одежде и с влажными волосами, они свободно спускались по плечам. Она казалась мягче и даже моложе; конечно, она и раньше не казалась жесткой или некрасивой, но все равно. Я, наверное, выглядел глупо, видно было, что сержусь из-за пластыря и вроде всерьез не могу рассердиться, такая она красивая.

Она заговорила быстро-быстро:

— Послушайте, мне было очень больно. Я дала вам слово и снова обещаю. Вы можете снова, если хотите, наклеить пластырь — вот он. Но я ведь уже могла закричать, если бы хотела. Я же не закричала.

Отдала мне пластырь и глядит на меня, и в глазах у нее что-то такое — я не смог ей снова рот заклеить. Говорю, ладно, обойдемся руками. Она была в своем зеленом платье, но в блузке, которую я для нее купил, и ясно было, что белье на ней тоже новое, из того, что я покупал. Связал ей за спиной руки.

Говорю, мне самому неприятно, что приходится быть таким подозрительным, только ведь вы — все, что у меня есть в этой жизни. Только ради этого живу. Конечно, я понимал, что не время говорить такое, не тот момент, но ведь она стояла так близко, я не выдержал.

Говорю, если вы уйдете, я на себя руки наложу.

— Вам надо лечиться.

Я только хмыкнул.

— Я хотела бы вам помочь.

Вы думаете, я сумасшедший, раз сделал то, что сделал. Я не сумасшедший. Просто вы — ну, просто вы — единственная. Больше никого нет. И никогда не было. Только вы.

— Это и есть самая настоящая болезнь, — говорит и лицо ко мне повернула. Весь этот разговор шел, пока я ей руки связывал. Глаза опустила и говорит: — Мне жаль вас. — Потом другим тоном: — А как быть с бельем? Я кое-что постирала. Я могу это где-нибудь повесить? Или вы сдаете в прачечную?

Говорю, высушу все в кухне. Нельзя ничего сдавать в прачечную.

— А теперь что? — И огляделась. Иногда у нее был такой лукавый вид, понятно было, она что-то затевает, не со зла, а так, чтоб подразнить, в шутку. — Не хотите мне показать дом?

И улыбается, по-настоящему, первый раз за все время; и я не мог ей не улыбнуться.

Поздно ведь, говорю.

— Он очень старый? — спрашивает, вроде и не слышит меня.

Над дверью камень с надписью «1621».

— Этот ковер сюда не годится, и цвет не тот, — говорит. — Надо бы плетеные циновки или что-нибудь в этом роде. И эти картины — ужасно!

Пошла по площадке, посмотреть поближе. Взгляд такой лукавый.

Говорю, они довольно дорого обошлись.

— Не по деньгам же судить!

Прямо выразить не могу, как все это было странно: стоим рядом, и она все критикует, типично по-женски.

— А в комнаты можно заглянуть?

Я был прямо сам не свой, не мог отказать себе в этом удовольствии, открывал двери и останавливался с ней на пороге, показывал ей комнаты, ту, что для тетушки Энни приготовил, ту, что для Мейбл, если они когда-нибудь приедут, и свою. Миранда очень внимательно их оглядывала. Ну, занавеси, конечно, были задернуты, и я внимательно за ней следил и стоял совсем рядом, чтоб она не вытворила чего.

Когда мы остановились в дверях моей комнаты, я сказал, мол, специальную фирму приглашал все это сделать.

— Вы очень аккуратны.

Увидела старые картины с бабочками — я их в антикварном магазине купил.

Сам выбирал, говорю.

— Эти картины — единственная достойная вещь здесь у вас в доме.

Ну вот, дошло дело и до комплиментов, и, должен сказать, мне было это приятно.

Потом она говорит:

— Как тут тихо. Слушаю, слушаю — ни одной машины. Думаю, мы где-то в Северном Эссексе.

Я сразу понял, она меня ловит и смотрит так внимательно. Притворился удивленным, говорю, мол, как это вы догадались? Вдруг она говорит:

— Странно, я должна бы трястись от страха. А я чувствую себя с вами в безопасности.

Я никогда не причиню вам боли. Если только вы меня сами не вынудите.

И вот вдруг стало, как я всегда надеялся: мы начали узнавать друг друга, она начала меня понимать, увидела, какой я на самом деле.



Она говорит:

— Воздух в саду замечательный. Вы даже представить себе не можете. Даже здесь, наверху. Он свободный. Не то что я.

И пошла вниз, быстро, мне пришлось ее догонять. Внизу, в холле, остановилась.

— А здесь можно посмотреть?

Ну, семь бед — один ответ, думаю, все равно ставни заперты, занавеси задернуты. Она вошла в залу и стала ее осматривать, ходит, смотрит, разглядывает всякие вещи, руки за спиной связаны, выглядело это, по правде говоря, довольно смешно.

— Какая красивая, прелестная комната. Жестоко забивать такую комнату всяким хламом. Какая гадость! — И ногой толкнула одно из кресел. Думаю, на лице у меня было написано, что я тогда чувствовал (обида), потому что она сказала: — Но вы же сами понимаете, что это все не то! Эти претенциозные лампы на стенах ужасны, и фарфоровые утки (вдруг она их заметила) — этого еще не хватало! — Она по-настоящему рассердилась, сердито посмотрела на меня, потом снова на этих уток. — Очень больно руки. Будьте добры, если не возражаете, свяжите мне их для разнообразия не за спиной, а впереди.

Мне не хотелось, как говорится, портить настроение, и ничего плохого в ее просьбе я не видел; как только я развязал шнур у нее на руках (и уже готов был ко всяким неприятностям), она сразу повернулась ко мне лицом и руки сложенные протянула, чтобы я связал; ну, я так и сделал. Ну, тут она меня потрясла. Подошла к камину, над которым эти дикие утки висели, их было три, по тридцать шиллингов штука, и не успел я и слово вымолвить, как она сдернула их с крюков и — хлоп, трах! — разбила их о каминную решетку. Вдребезги.

Огромное вам спасибо, говорю ей, таким саркастическим тоном.

— Дом этот такой старый, он как живой, в нем есть душа. И нельзя делать с ним то, что вы сделали с этой замечательной комнатой, такой красивой, такой старой-престарой, в ней ведь жили люди, много людей, поколение за поколением. Разве вы сами этого не чувствуете?

У меня нет опыта, я никогда еще дома не обставлял, говорю.

Она странно так на меня взглянула и прошла мимо, в комнату напротив; я называл эту комнату столовой, хотя эти люди из фирмы, которые ее обставляли, назвали ее «комнатой двойного назначения». Полкомнаты было отведено для работы. Там стояли мои три шкафа, и она их сразу заметила.

— А вы не покажете мне товаров по несчастью?

Ничего лучшего я и желать не мог. Вытащил пару самых интересных ящичков, с представителями одного вида, на самом деле ничего серьезного, так, просто для показа.

— Вы их купили?

Конечно нет, говорю. Всех сам поймал или вывел и сам накалывал, аранжировка тоже моя. Все мое.

— Очень красиво сделано.

Показал ей ящички и с голубянками, и с перламутровками, и с меловками<sup>[45]</sup>. У меня есть и ночные *var.*, и дневные, и я ей указал на разницу<sup>[46]</sup>. У меня ведь есть очень красивые *var.*, даже лучше, чем в Музее естественной истории в Лондоне. Я был очень горд — ведь тут я мог ей что-то показать и объяснить. И еще, она никогда не слыхала про аберрации<sup>[47]</sup>.

— Они кажутся очень красивыми. И печальными.

Это как посмотреть. Все от нас зависит.

— От вас зависит! Это же вы все сами сделали! Сколько бабочек вы убили? — Стоит напротив, с той стороны ящичка, и смотрит на меня во все глаза.

Ну, вы же видите.

— Нет, не вижу. Я думаю обо всех тех бабочках, которые вывелись бы, если бы эти остались жить. Только представьте себе эту трепетную, живую красоту, погубленную вами!

Ну кто может это себе представить?

— Вы даже этих никому не показываете, ни с кем не делитесь! Ну кто это видит? Вы, как скупец деньгами, набили свои ящики красотой и заперли на замок.

Я ужасно расстроился, ужасно был разочарован. Все, что она говорила, было так глупо. Какое значение могут иметь несколько убитых бабочек для целого вида?

А она говорит:

— Терпеть не могу ученых. Ненавижу тех, кто коллекционирует, классифицирует и дает названия, а потом напрочь забывает о том, что собрал и чему дал имя. С искусством тоже так. Назовут художника импрессионистом, или кубистом, или еще как-то, уберут подальше в ящик и перестают замечать в нем живого человека, художника, личность. Но я вижу, вы их очень красиво аранжировали.

Это она опять попыталась быть со мной милой и любезной.

Тут я сказал: я еще и фотографирую. У меня были фотографии, сделанные в лесу за домом, и еще как море перехлестывает через парапет в Сифорде<sup>[48]</sup>, очень неплохие. Я их сам увеличивал. Положил их на стол, так, чтоб ей было видно.

Она посмотрела и молчит.

Не очень получилось, говорю. Я недавно этим начал заниматься.

— Они мертвые, — говорит. И странно так смотрит, сбоку. — Не только эти. Вообще все фотографии. Когда рисуешь что-нибудь, оно живет. А когда фотографируешь, умирает.

Как музыка на пластинке, говорю.

— Да, засыхает и умирает.

Я было собрался спорить, а она говорит:

— Но эти снимки удачны. Насколько могут быть удачны снимки.

Помолчали немного. Я сказал, мне хотелось бы вас сфотографировать.

— Зачем?

Ну, вы, как говорится, фотогеничны.

Она глаза опустила. Потом говорит:

— Хорошо. Если вам так хочется. Завтра.

Это меня ужасно взволновало. Все изменилось. Дела шли на лад. Тут я решил, что пора ей уже отправляться вниз. Она и не возразила ничего, только плечами пожала, дала мне заклеить ей рот, и все прошло хорошо, как и раньше.

Ну, когда мы спустились, ей захотелось чаю (она меня упросила купить ей особый, китайский). Я отклеил пластырь, и она вышла в наружный подвал (со связанными руками) и посмотрела, где я готовил ей еду и всякое такое. Мы не разговаривали. Было хорошо. Чайник, закипающий на плите, и она здесь, рядом. Конечно, я не спускал с нее глаз. Когда чай был готов, я спросил: кто будет за матушку, я?

— Ужасающее выражение!

Чего в нем такого ужасного?

— Оно — как те ваши дикие утки. Мещанское, устаревшее, мертвое, оно... Оно затхлое и тупое и ничего не выражает. Неужели вы сами не чувствуете? Почему просто не спросить, кто будет разливать чай?

Тогда лучше вы будьте за матушку.

И так странно она улыбнулась, вроде вот-вот рассмеется, но вдруг отвернулась и ушла к себе в комнату, я за ней, с подносом. Она налила чай в чашки, но видно было, чем-то я ее рассердил. На меня и не глядит.

Я не хотел вас обидеть, говорю.

— Я о своих подумала. Вряд ли они сейчас могут пить вкусный чай и улыбаться друг другу.

Всего четыре недели, говорю.

— Не нужно напоминать мне об этом!

Ну, типично по-женски. Непредсказуема. То улыбается, то злобится.

Вдруг говорит:

— Вы отвратительны. И я с вами становлюсь такой же отвратительной.

Это ненадолго.

Тут она такое сказала, я и не слышал никогда, чтобы женщина такое сказала. Меня прямо передернуло.

Я ей говорю, мол, не люблю таких выражений. Это отвратительно.

Тогда она повторила еще раз, да криком. Иногда просто невозможно было уследить за сменой ее настроений.

На следующее утро она была в норме, хоть и не подумала извиниться. Ну и две вазы, которые у нее в комнате стояли, валялись разбитые на ступеньках, когда я открыл дверь. Как всегда, когда я вошел с завтраком, она уже встала и ждала меня.

Ну, перво-наперво ей потребовалось узнать, разрешу я ей увидеть дневной свет или нет. Я сказал, мол, на улице все равно дождь.

— Почему бы мне не выйти в тот, другой подвал и не походить там? Мне нужно хоть немного двигаться.

Мы здорово поспорили. Ну, в конце концов договорились, что, если ей так надо там ходить именно днем, придется рот ей заклеивать. Я не мог рисковать, вдруг кто-нибудь окажется позади дома... Вряд ли такое могло случиться, и ворота в сад, и ворота к гаражу всегда были на запоре. Но ночью достаточно было бы связанных рук. Сказал ей, не могу обещать, что разрешу принимать ванну чаще чем раз в неделю. И никакого дневного света. Думал, она снова надуется, но она, видно, поняла, что, дуйся не дуйся, ничего не получится; так что пришлось ей принять мои условия.

Может быть, я был с ней слишком строг. Погрешность была в сторону строгости. Но приходилось соблюдать осторожность. Например, к концу недели, в выходные, движение по дороге усиливалось. Было больше машин, особенно в хорошую погоду, каждые шесть минут проезжала машина. Часто, проезжая мимо дома, замедляли ход, возвращались, чтоб рассмотреть получше, у некоторых даже хватало нахальства просунуть фотоаппарат сквозь решетку ворот и фотографировать. Так что в выходные я вообще ее из комнаты не выпускал.

Как-то раз я только-только выехал из ворот, собирался в Луис, какой-то человек — тоже в машине — меня остановил. Не я ли хозяин этого дома? Такой ужасно культурный, ни слова не разберешь, будто у него слива в плотке застряла, из тех, у кого мохнатая лапа имеется там, наверху. И пошел распространяться про этот дом, и что он пишет статью в журнал, и чтоб я разрешил ему тут пофотографировать, и особенно снять тайную молельню.

Нет тут никакой молельни, говорю.

— Но, мой милый, это же фантастика! Молельня упоминается в истории графства! В десятках книг!

А, вы имеете в виду тот старый подвал, говорю, вроде до меня только дошло. Он завален. Замурован.

— Но это же исторический памятник, охраняемый государством. Вы не имеете права.

Я говорю, ну она же никуда не делась, просто ее теперь не видно. Это сделали еще до меня.

Тогда ему понадобилось осмотреть дом внутри. Я сказал, что очень спешу. Он еще раз приедет, пусть я назначу день. Ну, я не согласился. Сказал, не могу, очень много просьб поступает. А он все пристаёт, все вынюхивает, даже пригрозил, что получит от Общества охраны исторических памятников (есть и такое общество?) ордер на осмотр, они, мол, его поддержат, да так распалился, грозный такой и в то же время хитрый, скользкий какой-то. Ну, в конце концов он уехал. Это все, конечно, был чистый блеф, но приходится и такое принимать в расчет.

В тот вечер я сделал несколько снимков. Совсем обычных, как она сидит и читает. Очень хорошо получилось.

Примерно тогда же она нарисовала мой портрет, в порядке обмена любезностями. Пришлось сидеть в кресле и смотреть в угол. Полчаса просидел, а она рисунок порвала, я и остановить ее не успел. (Она часто рисунки рвала, думаю, сказывалась ее художественная натура.)

А мне бы понравилось, говорю. Ну, она даже не ответила, только сказала:

— Не двигайтесь.

Время от времени говорила что-нибудь. Большею частью замечания личного характера.

— Вас очень трудно передать. Вы безлики. Все черты неопределенные. Я не имею в виду вас лично, я говорю о вас лишь как об изображаемом предмете. — Потом говорит: — Вы не некрасивы, но у вас мимика неприятная и некоторые черты... Хуже всего нижняя губа. Она вас выдает.

Я потом наверху долго на себя в зеркало смотрел, но так и не понял, что она хотела сказать.

Иногда вдруг задаст вопрос — как гром с ясного неба:

— А вы верите в Бога?

Не очень.

— Да или нет?

Не думаю об этом. Не вижу, какое это может иметь значение.

— Это вы заперты в подвале, — говорит.

А вы верите? — спрашиваю.

— Конечно. Я же существо одушевленное.

Я хотел продолжить разговор, только она сказала, хватит болтать.

Жаловалась на свет:

— Все из-за искусственного освещения. Не могу рисовать при нем. Оно лжет.

Я знал, к чему она подбирается, и рта не раскрыл.

Потом опять, может, и не в тот раз, когда она меня в первый раз рисовала, не помню точно, в какой день, вдруг заявляет:

— Повезло вам, что вы своих родителей не знали. Мои не разошлись только из-за сестры и меня.

Откуда вы знаете?

— Мама мне говорила. И отец тоже. Мать ведь у меня дрянь. Сварливая, претенциозная

мещанка. И пьет к тому же.

Слышал, говорю.

— Никого нельзя было в дом пригласить.

Мало приятного, говорю.

Она быстро на меня взглянула, но я сказал это вовсе не саркастически. Рассказал ей, что мой отец пил, и про мать тоже.

— Мой отец — человек слабый, безвольный, хоть я его очень люблю. Знаете, что он мне как-то сказал? Сказал, не могу понять, как у таких плохих родителей могли вырасти такие чудесные дочери. На самом деле он, конечно, имел в виду сестру, а не меня. Она по-настоящему умная и способная.

Это вы по-настоящему умная и способная. Ведь это вы получили повышенную стипендию.

— Я просто хороший рисовальщик, — говорит. — Я могла бы стать способным художником, но великий художник из меня никогда не выйдет. Во всяком случае, я так считаю.

Кто может сказать наверняка?

— Я недостаточно эгоцентрична. Я — женщина, мне нужна опора.

Не знаю, с чего вдруг, резко изменила тему разговора. Спрашивает:

— Может, вы — гомик?

Конечно нет, говорю и, конечно, краснею.

— Ничего позорного в этом нет. Даже среди очень хороших людей есть гомосексуалисты. — Потом говорит: — Вы хотите, чтобы я была вам опорой. Я чувствую. Думаю, это связано с вашей матерью. Наверное, во мне вы ищете свою мать.

Не верю в эту чепуху, отвечаю.

— Мы не сможем быть вместе. Ничего не получится. Нам обоим нужна опора.

Вы могли бы опереться на меня... В смысле финансов.

— А вы на меня — во всем остальном? Не дай бог! — Потом: — Ну вот, — говорит и протягивает рисунок.

Здорово получилось, я здорово удивился, до того похоже. На портрете я выглядел вроде как-то достойнее, красивее, чем в жизни.

Не сочли бы вы возможным продать это? — спрашиваю.

— Не думала, но, пожалуй, соглашусь. Двести гиней<sup>[49]</sup>.

Хорошо.

Опять быстро на меня взглянула.

— И вы бы заплатили за это двести гиней?

Да. Ведь это вы нарисовали.

— Отдайте.

Я отдал ей портрет и опомниться не успел, смотрю, она пытается его разорвать.

Пожалуйста, не надо, говорю.

Она остановилась, но портрет уже был надорван.

— Это же плохо, очень плохо, ужасно! — И вдруг бросила рисунок мне: — Держите! Положите в ящик, вместе с бабочками!

Когда я в следующий раз поехал в Луис, купил ей еще пластинок, все, что мог найти с музыкой Моцарта, вроде он ей очень нравился.



В другой раз она нарисовала вазу с фруктами. Раз десять нарисовала. Потом все это развесила на ширме и попросила, чтоб я выбрал самый лучший рисунок. Я сказал, мол, все они красивые, но она настаивала, и я выбрал один, наудачу.

— Этот самый плохой, — говорит. — Это ученическая работа, и ученик начинающий, хотя и не без способностей. Но один из этюдов получился. Я знаю, хорошо получился. В тысячу раз лучше, чем все остальные. Если с трех попыток угадаете, получите его в подарок, когда я отсюда выйду. Если выйду. Если не угадаете, придется вам заплатить десять гиней.

Ну, я вроде не заметил издевки и сделал три попытки, но все три мимо. Тот, который она сочла таким хорошим, мне показался и наполовину незаконченным, нельзя было разобрать, что там за фрукты, и ваза кривая.

— Здесь я только пыталась сказать что-то об этих фруктах. Еще не говорю, но будто уже подошла к сути, остановилась на самом пороге. Еще ничего не сказано, но ощущение такое, что вот-вот скажется, правда? Вы видите?

[Купить полную версию книги](#)

---

---

notes
-------



Дж. Фаулз перефразирует здесь известную максиму великого французского математика и философа Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую».

*Фаулз Дж.* Кротовые норы. М.: Махаон, 2002.

Сборник стихов был опубликован уже после выхода романов Фаулза «Коллекционер» и «Маг», в 1971 г.

*Fowles John. Aristos. Lnd. 1964, переработанное издание — 1970 (перевод на русский язык 2003, 2004, 2006 гг.).*



The Contemporary English Novel. Lnd., 1973. P.13.

Спектакль по роману «Коллекционер» был впервые поставлен в Москве в театре Р. Виктюка (инсценировка и режиссура С. Виноградова).

*Красавченко Т.* Коллекционеры и художники // *Фаулз Дж.* Коллекционер. М.: Известия: Библиотека ИЛ, 1991. С. 6.

Большая их часть опубликована в сборнике «Wormholes». Lnd., 1998 (перевод на русский язык: Кротовые норы. М.: Махаон, 2002).

*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 31.

Харольд Пинтер (H. Pinter, 1930) — английский поэт и драматург, чьи пьесы отличаются необычайной яркостью портретов, данных через диалог персонажей. Здесь имеется в виду его пьеса «Комната» (The Room, 1957), как и другие его произведения ярко показывающая трудности человеческого общения и понимания. Пинтер много пишет для радио и телевидения. Его киносценарии включают киноверсии романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», «Женщина французского лейтенанта» Дж. Фаулза и др.



*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 31.

*Фаулз Дж. Аристос. М.: АСТ, 2006. С. 10.*

*Фаулз Дж. Аристос. М.: АСТ, 2006. С. 11.*

*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 32–33.

*Красавченко Т. Указ. соч. С. 7.*

Томас Лав Пикок (T.L. Peacock, 1785–1866) — английский сатирик, очеркист и поэт. Его сатирические работы в прозе дают представление о политической и культурной жизни Англии того времени с радикальных позиций (напр., «Аббатство кошмаров» — «Nightmare Abbey», 1818 г.).



*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 32.

«Принцесса Греза» (1895) — поэтическая драма Эдмона Ростана (1868–1919), французского поэта и драматурга, написанная по мотивам средневековой легенды о рыцарской любви.

*Имаго* — взрослая стадия развития бабочки.

*Фаулз Дж. Аристос. Указ. соч. С. 9–11.*

*Fowles John. The Tree. Lnd., 1979.*

Корнуолл — графство на юго-западе Великобритании, историческая область, коренное население которой — кельты, говорившие на корнуольском языке, теперь вышедшем из употребления.

*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 28.

*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 29.



*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 29.

Имеется в виду афоризм «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать».

*Фаулз Дж.* Кротовые норы.

*Фаулз Дж.* Кротовые норы. С. 29.

*Перламутровка* (Great Spangled Fritillaria) — крупная бабочка красивой перламутровой окраски.

*Фритиллари* — несколько родов бабочек сем. нимфалид. (Нимфалиды — дневные бабочки, более 2 тыс. видов.)

*Может, нимфа Лида из Виргинии?* — Нимфалида Виргинская (*Vanessa Virginiensis*) — название бабочки.

*Чек был на 73 091 фунт и еще сколько-то шиллингов и пенсов.* — Действие происходит до денежной реформы в Великобритании.



*Нонконформисты* — наименование членов английских церковных организаций, не признающих обряды и учение государственной англиканской церкви.

...я заинтересовался книгами, которые можно купить в этих магазинчиках в Сохо, ну там голые женщины и всякое такое. — Сохо — район центрального Лондона, средоточие ресторанов, ночных клубов, увеселительных заведений и магазинчиков, часто сомнительного характера.

*Мне нужно было много чего собрать: несколько парусников, например, махаона, большую синюю голубянку, редкие фритилларии, вересковую и селену и всякое такое. — Названия бабочек: Papilio machaon; голубянки (Lucanidae) — семейство дневных бабочек красивой синей, голубой, зеленой окраски. Вересковая (Issoria lathonia) и селена (Glossiana selena) — бабочки, разновидности фритилларий.*

*...я тогда переехал в гостиницу в Паддингтоне...* — Паддингтон — район центрального Лондона, место расположения дешевых гостиниц.

*Художественное училище Слейда* (Slade School) — художественное училище при Лондонском университете, основано в 1871 г., названо в честь Ф. Слейда, филантропа и коллекционера произведений искусства.

...в *Национальную галерею и к Тейту*. — Национальная галерея — крупнейшее в Великобритании собрание картин; открылась в 1825 г. Галерея Тейта — собрание картин английских (начиная с XVI в.) и зарубежных мастеров XIX–XX вв., основана Генри Тейтом в 1897 г.

*Объявление было необыкновенное: «ВДАЛИ ОТ ШУМНОЙ ТОЛПЫ»...* — в поразившем Клегга объявлении использовано название известного романа Томаса Гарди, о чем Клегг не подозревает.

*Суссекс* — графство на юго-востоке Англии.



*Дом и точно выглядел очень старым, белый с черными балками, крыша — старинная черепица. — Имеется в виду фахверковый дом, представляющий собой каркас из вертикальных элементов, пересеченных горизонтальными, и раскосов из деревянного бруса с заполнением промежутков камнем или кирпичом. Типичен для Западной Европы в Средние века.*

*Хэмпстед* — фешенебельный район на севере Лондона, частично сохраняет характер живописной деревни. Там же расположен лесопарк *Хэмпстед-Хит*.

*Адмирал* (*Pyrameis Atalanta*) — крупная дневная бабочка семейства нимфалид.

*Суффолк* — графство на юго-востоке Англии.

*Показал ей ящики и с голубянками, и с перламутровками, и с меловками.* — Клефт смешивает специальные и бытовые названия бабочек.

*У меня есть и ночные var., и дневные, и я ей указал на разницу.* — Видимо, Клегг не подозревает, что «var.», списанное им с ярлыков в музее, означает «вариант».

*И еще, она никогда не слыхала про aberrации. — Абберация — здесь: изменение внешнего вида бабочки, в основном окраски, вызванное неправильным расположением чешуек на крыльях.*

*Сифорд* — город и порт на юге Англии.



*Двести гиней* — в старой системе английского денежного исчисления 210 фунтов.